



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Яков Васильевич Абрамов](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ](#)
 - [ГЛАВА II. ПЕСТАЛОЦЦИ – СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИН. НАЧАЛО ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ](#)
 - [ГЛАВА III. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕСТАЛОЦЦИ](#)
 - [ГЛАВА IV. ПЕСТАЛОЦЦИ В СТАНЦЕ И В БУРГДОРФЕ](#)
 - [ГЛАВА V. ПЕСТАЛОЦЦИ – ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПЕДАГОГ](#)
 - [ГЛАВА VI. ХАРАКТЕР И ВОЗЗРЕНИЯ ПЕСТАЛОЦЦИ](#)
 - [ИСТОЧНИКИ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
-

Яков Васильевич Абрамов
Иоганн Генрих Песталоцци. Его жизнь и педагогическая деятельность

*Биографический очерк Я. В. Абрамова
С портретом Песталоцци, гравированным в
Лейпциге Геданом*

ОТ АВТОРА



Песталоцци принято называть “отцом современной педагогики”. Говорится это обыкновенно для выражения высокой похвалы этому великому человеку. Однако в настоящее время, когда многие и весьма многие начинают сомневаться в высоких достоинствах “современной педагогики”, именовать Песталоцци “отцом” ее – еще не значит выразить то поистине великое значение, которое имел Песталоцци в истории человечества. Гораздо более будет соответствовать делу наименование великого педагога “отцом народного образования”. На памятнике, воздвигнутом Песталоцци в 1890 году в швейцарском городке Ивердоне, где столько лет работал он на поприще народного просвещения, очень предусмотрительно устранено указание на заслуги Песталоцци как отца современной педагогики и весьма справедливо отмечены его заслуги в качестве “спасителя бедных”, “отца сирот”, “основателя народной школы” и “воспитателя человечества”. И действительно, для того, кто смотрит на дело без предвзятой мысли, заслуги Песталоцци собственно в области практической педагогики – и как учителя-практика, и как теоретика-

методолога – кажутся весьма невысокими. Иное дело – Песталоцци как пропагандист идеи народного образования, как борец против господствовавшей до него (в значительной мере продолжающей господствовать и доселе) школьной рутины и как автор идеи о замене школьного обучения домашним: здесь Песталоцци действительно велик, и заслуги его перед человечеством неизмеримы. Нужды нет, что далеко, далеко не все, что проповедовал, чего желал Песталоцци, осуществилось, вошло в жизнь: в этом вина уже не Песталоцци. Идеи, высказанные им, остаются, живут и мало-помалу осуществляются в жизни. Уже один тот толчок, который он дал вопросу о народном образовании, привлекая к этому предмету внимание лучших элементов европейского общества, выяснив все великое значение народного образования и возбудивши стремление к образованию в самой массе темного народа, – уже одной этой заслуги, имевшей такие обширные и важные практические последствия, совершенно достаточно для того, чтобы поставить Песталоцци в ряду истинных “благодетелей человечества”.

Помимо крупного исторического значения жизни Песталоцци, для биографа она представляет особенно приятный предмет описания еще потому, что в истории человечества найдется немного людей, у которых дело в такой мере согласовалось бы со словом, жизнь – с убеждениями. На памятнике в Ивердоне вычеканены слова: “Все для других, ничего для себя”, – и в этих словах – все содержание жизни Песталоцци. Личных целей, личной жизни у Песталоцци не было. Вся его долгая жизнь была отдана до последнего дня служению народу – служению идеально-бескорыстному. Трудно представить себе что-либо более трогательное, чем нижеследующее посвящение, поставленное на одной из книг Песталоцци, – посвящение, в котором он так характерно изображает побуждения и значение своей деятельности, и ту награду, которую он желал бы получить за долгие годы своих трудов и лишений. Вот это посвящение:

“Низшему классу населения Гельвеции”^[1]

Я долго смотрел на твое жалкое, тяжелое положение, и сердце мое исполнилось скорбью. Дорогой мой народ, сказал я себе, я помогу тебе. У меня нет искусства, я не вооружен наукой, в этом свете я ничто, совсем ничто, но | хорошо знаю тебя и отдаю тебе все, что успел приобрести в течение моей трудовой жизни. Я отдаю тебе всего себя.

Читай, что я предлагаю, без предрассудка, и если кто-нибудь даст тебе лучшее, брось меня; пусть в твоих глазах я превращусь в то же “ничто”, каким я прожил всю мою жизнь. Но если тебе не скажет никто того, что говорю я, никто не скажет так доступно и пригодно,

как говорю я, то подари мою память, мою жизнь, мою угасшую для тебя деятельность слезою – одною только слезою”.

В этих словах – весь Песталоцци. Жизнь *такого* человека не может не быть глубоко поучительной для всех и каждого. И действительно, жизнеописание великого народного печальника должно быть настольною книгою у всех – великих мира сего и малых, богатых и бедных, старых и юных. Здесь перед каждым пример поистине идеального самоотвержения, необычайной преданности избранному для себя делу и несокрушимой энергии, вытекавшей из глубочайшей любви к этому делу. Бедный до того, что он не мог быть уверенным в куске хлеба назавтра, занимая самое ничтожное общественное положение, непрактичный до того, что многие современники серьезно считали его безумным, мечтатель и фантазер, бесхарактерный Песталоцци сумел не только всю жизнь прослужить любимому делу, не только никогда не отступал ни на шаг от своих убеждений и правил, но и заставил весь мир признать справедливым и разумным то, что первоначально казалось всем окружающим его проявлением безумия. Жизнь Песталоцци наглядно учит нас, что любовь к делу и вера в него составляют такую силу, которая слабых превращает в титанов и помогает одному выстоять против всех и даже одержать победу. Полагаю, что жизнь человека, олицетворяющего такое поучение, действительно достойна внимания всех.

ГЛАВА I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Рождение. – Отец, мать и служанка Бабэль. – Первые годы жизни. – Влияние условий детской жизни на формирование характера. – Дядя и дед. – Горожане и сельчане. – Источник сочувствия к народу. – Начальное обучение. – Колледж. – Стремления молодежи. – Выбор должности. – Влияние Руссо. – Песталоцци – правовед, священник и земледелец. – Начало литературной деятельности

Песталоцци по происхождению был швейцарцем. В Швейцарии же прошла и вся его жизнь. Он родился 12 января 1746 года в Цюрихе. Отец Песталоцци был хирургом, а мать – дочерью зажиточного поселянина. И по отцу, и по матери Песталоцци был в близких отношениях с деревней. Дед его по отцу был сельским пастором, а один из дядей – сельским врачом. Оба они были истинно деревенскими людьми и имели большое влияние на развитие симпатий Песталоцци к деревне и простому люду. Родня по матери была уже чистою деревенщиной.

Отец Песталоцци имел довольно значительную практику, и семья считалась зажиточной. Она состояла, кроме отца, матери и сына Генриха, еще из другого сына и дочери. И отец, и мать Песталоцци были людьми добрыми, мягкого характера, и жизнь семейства складывалась самым благоприятным образом. К несчастью, неожиданная смерть разрушила это счастливое положение и ввергла семью в крайнюю бедность.

Песталоцци было всего пять лет, когда умер его отец. Семья осталась с самыми скудными средствами. Положение было тем более печально, что мать Песталоцци, ставшая теперь во главе семьи, была совершенно не подготовлена к этой ответственной роли и отличалась крайней непрактичностью. Семью ожидали все бедствия нищеты, если бы ее не спасла самоотверженная личность, отдавшая всю свою жизнь попечениям о доброй, но бесхарактерной г-же Песталоцци и ее детях. На долю Песталоцци выпало с колыбели видеть возле себя пример безграничного самопожертвования и жизни для других, что, конечно, сильно повлияло и на развитие в нем самом того же качества.

Еще при жизни отца в семью поступила служанка, молодая деревенская девушка, по имени Бабэль. Она быстро привязалась к добрым господам и их детям. Ее трудолюбие, практичность и привязанность к семье Песталоцци привлекли, в свою очередь, симпатии к ней членов

семьи. И вот когда отец умирал, он обратился к этой простой деревенской девушке с такими словами: “Бабэль, ради Бога, не бросай моей семьи. Когда я умру, она легко растеряется в куче предстоящих ей забот, и детям моим придется есть чужой кусок хлеба, целовать чужую руку”. Бабэль отвечала: “Ладно, я не оставлю вашей жены и если до моей смерти буду годиться ей на что-нибудь, то не уйду от нее”. И она, эта простая деревенская девушка, сдержала слово, данное умирающему: она слила всю свою жизнь с жизнью семьи Песталоцци и отдавала ей все свои силы до самой своей смерти.

В сущности, главою семьи после смерти отца была Бабэль. Г-жа Песталоцци, оставаясь госпожою внешне, во всем подчинялась практичной и внушавшей ей глубокое уважение Бабэль. Всю тяжесть мелочных материальных забот, которые так назойливы в бедных семьях, Бабэль взяла на себя и сделала то, что жизнь семьи Песталоцци, при всей скудости ее средств, была сносной.

Песталоцци вспоминает в своих автобиографических записках, веденных им в старости, в самых трогательных выражениях о доброй, великодушной девушке, отдавшей всю свою жизнь чужим детям и их беспомощной матери. Эта Бабэль была истинным ангелом-хранителем семьи не только потому, что она спасла ее от нищеты, но и еще более потому, что своим добрым влиянием, влиянием своей простой, благородной и великодушной личности, она способствовала развитию самых лучших душевных качеств в детях семьи.

О матери своей Песталоцци говорит с величайшей любовью. Вся ее жизнь была отдана детям. Она никогда нигде не бывала, оставаясь все время с детьми. Она отказывала себе в самом необходимом, чтобы только иметь возможность дать своим детям образование, которое она высоко ценила, несмотря на то, что сама была малообразованной.

Брат Песталоцци умер вскоре вслед за отцом, и любовь матери всецело сосредоточилась на Генрихе и его сестре. Он называет себя “маменькиным сынком” и говорит, что в детстве он “не выходил из-за печки”. Действительно, обстановка детства, вместе с развитием в Генрихе лучших качеств души – доброты, мягкости, любви к людям и самоотверженности, повлияла и на развитие в нем бесхарактерности и непрактичности. Окруженный заботами двух женщин, души не чаявших в нем, Генрих не имел ни надобности, ни случая шагу ступить самостоятельно. Эта непривычка к самостоятельности, эта непрактичность дали о себе знать впоследствии, когда Песталоцци пришлось жить на свой страх, – и очень печальным образом. Уединенная жизнь, которую вела семья Песталоцци и

при которой она почти не сталкивалась с посторонними, имела своим последствием то, что Песталоцци на всю жизнь остался каким-то дикарем, всегда стеснявшимся в обществе и крайне неловким и угловатым на людях. Но та же тесная, замкнутая семейная жизнь развила в Песталоцци глубокую любовь и своего рода благоговение перед семейными узами и отношениями. Семья, с ее радостями и горестями, с ее взаимной любовью, связующей членов, стояла для Песталоцци выше всего, и семейные отношения заняли главное место в системе его взглядов на воспитание. Нельзя не упомянуть еще и о том, что уютная семейная жизнь, где все так любили друг друга и во всем доверяли друг другу, сделала Песталоцци глубоко доверчивым, считавшим всех и каждого прекрасными людьми. Другого такого слепо-доверчивого и не способного разочаровываться в людях человека действительно трудно было найти, что послужило для Песталоцци источником и счастья, и многих несчастий.

Была еще весьма заметная черта в характере Песталоцци, развивавшаяся именно под влиянием условий детской жизни. В жизни семьи благодаря энергичному руководству Бабэль царил строгий порядок. Суровая с виду, хотя и глубоко добрая в душе, Бабэль терпеть не могла никакой беспорядочности и неаккуратности; чистота была предметом особого попечения этой воспитательницы Песталоцци. В домике семьи всегда все блестело и сияло – царила самая идеальная чистота; на детях всегда было чистое белье и платье. Малейшее отступление от этого порядка – какое-нибудь пятно на платье детей, разлитая вода, а тем более порванное платье, – выводило Бабэль из себя. И Песталоцци вынес в жизнь привычку к чрезвычайному порядку и чистоплотности. Здесь, быть может, кроется причина того высокого значения, какое Песталоцци придавал внешней порядочности, считая ее первой ступенью к достижению нравственного улучшения.

Печальнейшею стороною детства Песталоцци являлось полное устранение его от жизни. Это обстоятельство давало себя знать в течение всей его последующей жизни. “Я рос, – говорит по этому поводу Песталоцци, – под неусыпными взорами лучшей матери, маменькиным сынком, более чем кто-либо другой; я видел свет только в небольшом пространстве комнаты моей матери, а потом в столь же ограниченном пространстве училищной комнаты; действительная человеческая жизнь была мне столь же чужда, как будто я вовсе не существовал в том мире, в котором жил”.

Эта ограниченность сферы наблюдений развила в Песталоцци чрезвычайную сосредоточенность, привычку вдумываться в то, что

приходилось видеть, стремление узнавать предмет со всех сторон.

Общество женщин, и притом женщин добрых, мягких, всю свою жизнь сосредоточивших на Генрихе и сестре, повлияло на развитие в Песталоцци чувства в ущерб сдерживающей силе рассудка. Эта черта ярко проходит через всю жизнь Песталоцци. Он всегда интересовался только тем, что затрагивало его чувство, а не тем, важность чего указывал ему разум. Точно так же в действиях своих он всегда руководствовался указаниями своего доброго сердца, как бы ни противоречили тому указания рассудка.

Сильное развитие чувства сделалось заметной чертой характера Песталоцци, которая выражалась в его необычайной чувствительности к чужому страданию. В детстве вид раздавленного червяка заставлял его плакать; встречаясь с нищим, он отдавал все, что у него было, и часто оставался голодным, относя свою обеденную порцию какому-нибудь бедняку. Эта чувствительность к чужому горю, к чужому страданию осталась в Песталоцци на всю жизнь.

Видное влияние на развитие характера Песталоцци – именно в смысле развития его симпатий ко всем бедным, обездоленным – оказали его дед и дядя.

Дед Песталоцци, как уже сказано, был деревенским пастором. Он как бы представлял предания первых времен реформатской церкви, тех времен, когда духовные лица выходили из среды самого народа и не разрывали с ним соединявших их ранее уз, продолжая жить не только среди людей, но и одной жизнью с ними. Отношения деда Песталоцци с прихожанами были самые близкие и душевные. Вся жизнь старика была посвящена прихожанам и их нуждам. Он прекрасно знал все семьи своего прихода, знал “внешнее” положение каждой и “внутреннее” настроение, и потому всегда мог вовремя явиться к нуждавшимся в слове утешения, умиротворения или в иного рода поддержке. Дедушка-пастор не только свято выполнял свой долг, но и горячо любил село, сельчан и сельскую жизнь, относясь весьма скептически к городу и городским порядкам. Когда Песталоцци гостил у своего деда, последний, с удовольствием замечая, что внук его быстро сближается с крестьянскими детьми, охотно отпускал его в крестьянские дворы для игр или в поле для ознакомления с деревенскими работами, брал его нередко с собою при исполнении треб и любил беседовать с ним о достоинствах простого деревенского люда. Песталоцци всю жизнь сохранял воспоминания о днях, проведенных у деда, и именно с этого времени в нем начал утверждаться несколько оптимистический, быть может, взгляд на крестьян как на часть народа, отличающуюся особыми

добродетелями. Вот что он писал по этому поводу уже в старости: “В нашем крестьянском населении того времени сохранились еще, хотя и значительно ослабевшие, воспоминания о прежних лучших днях. Оно в большей части деревень было честно, полно природного ума и понимания жизни. При своей простой, никому не вредящей деятельности, оно было воодушевлено, несмотря на свою необразованность, истинною любовью ко всему честному и справедливому; откуда бы ни исходила ложь, несправедливость, отсутствие любви, черствость сердца, люди того времени, обитавшие в самых бедных хижинах, высказывались с беззаботною, ничем не стесняющеюся отвагою, с готовностью на сопротивление. Вялость и равнодушие ко всему, что справедливо или нечестно, хорошо или дурно, не успели еще пустить глубоких корней в тогдашнем населении”.

Если симпатии деда Песталоцци к сельскому населению были более инстинктивны, и он мог в этом отношении воздействовать, главным образом, на чувства своего внука, то дядя последнего, медик Гётце, был уже сознательным сторонником сельчан, и его пылкие, горячие речи по поводу угнетенного положения, в котором тогда находились швейцарские крестьяне, не могли не подействовать на ум Песталоцци. Швейцария не знала крепостного права в узком значении этого слова. Здесь не было помещиков и принадлежавших им крестьян. Но зато эту роль помещиков по отношению к сельскому населению прекрасно выполняли города, и отношения, установившиеся между горожанами и сельчанами, делали последних, в сущности, крепостными первых. На крестьянах лежала вся тяжесть податей как кантональных, так и государственных, от которых горожане освободили себя. Крестьяне имели право заниматься только земледелием; торговля и ремесла составляли монополию горожан. При этом крестьяне могли продавать произведения своего труда только горожанам, а отнюдь не друг другу, и если крестьянин нуждался хоть в чем-либо из сельских продуктов, он должен был ехать за этим в город, а отнюдь не смел купить нужное у соседа-крестьянина, который мог бы продать ему втрое дешевле. Крестьянину разрешалось для собственной потребности выткать сукно или полотно из собственного сырья, но ни выбелить, ни выкрасить вытканное он не имел права, а должен был приглашать для этой цели городского красильщика. Крестьянин имел право дать займы деньги другому крестьянину не иначе как за проценты, и притом не ниже установленных высоких процентов: горожане, опутывавшие сельчан займами за высокие проценты, не желали, чтобы крестьяне могли иметь возможность занимать деньги за низкий процент. И так далее.

Такое бесправное положение крестьян возмущало лучших людей того времени. Гётце был особенно горячим противником ненормальных отношений горожан с сельчанами, и его пылкие речи по этому поводу, подкрепляемые повседневными фактами, которые маленький Песталоцци наблюдал во время пребывания у деда и дяди, не могли не оказать сильного влияния на мягкую душу будущего великого воспитателя. От природы глубоко справедливый и ненавидевший всякое притеснение, Песталоцци с детства начал сочувствовать угнетенному крестьянству и негодовать по поводу его бесправного положения.

Все изложенное на предыдущих страницах делает теперь для нас понятным то необычайное развитие любви к простому народу, к темной массе, которым отличался Песталоцци. Природная доброта и справедливость соединились здесь с происхождением Песталоцци от женщины из крестьянского сословия с влиянием второй матери, крестьянки Бабэль, воздействием примера деда, всецело отдавшегося служению народу, с влиянием дяди, убежденного демократа, и, наконец, с непосредственным наблюдением бесправного, угнетенного положения сельчан. Неудивительно, что уже в том возрасте, когда Песталоцци был отдан в школу, он был истинным народным печальником.

Начальное образование Песталоцци получил сперва под руководством своего деда-пастора, а затем в одной из городских школ Цюриха. Учение у дедушки шло превосходно. Добрый старик отдавал все свободное время внуку и вкладывал всю душу в обучение. Песталоцци давалось все легко, и ученье шло быстро и успешно. Совсем по-иному получилось, когда Песталоцци поступил в школу. Здесь царили схоластические приемы преподавания; учащиеся относились к делу формально; самые предметы преподавания представляли для них весьма малый интерес. Какое влияние могла оказать на Песталоцци подобная школа, наглядно видно из того отзыва, который он сделал впоследствии относительно школ своего времени. “Школы, в сущности, не что иное, – писал Песталоцци, – как искусственные машины, которыми душат все следы силы и опыта, влагаемые в детей природой. Представьте себе на минуту весь ужас этого убийства! До 5–7 лет детей оставляют в полном наслаждении природой, делая доступным всякое впечатление: дети чувствуют силы природы, они уже далеко ушли в наслаждении ее непринужденностью и всеми ее прелестями, и свободный, естественный ход, которым идет в своем развитии счастливый дикарь, уже овладел ими совершенно. И вот, после 5–7 лет этой блаженной жизни, вдруг уносят от их глаз всю природу; тирански останавливают полное прелести, непринужденное, свободное

развитие; сгущают их толпами, как овец, в душную комнату; неумолимо засаживают их на целые часы, дни, недели, месяцы и годы за жалкие, непривлекательные и однообразные буквы и заставляют их жить жизнью, совершенно противоположную всей их прежней жизни. Может ли удар меча, разрубающий шею преступника и ведущий его от жизни к смерти, произвести большее влияние на его тело, чем такой переход от прекрасного, полного наслаждения руководства природы к самому жалкому школьному учению – на душу детей?” Исходя из этого, Песталоцци, как увидим ниже, предлагал полное уничтожение начальных школ и замену их обучением в семьях. Продолжая характеристику современных ему школ, Песталоцци говорит о самом материале, служившем для обучения: “Сущность учения приносится в жертву путанице отдельных изолированных наук; выставляют на стол всякие блюда из крох истины, но умерщвляют дух самой истины; в человечестве гаснет сила самостоятельности, покоящаяся на истине”. Приведенные слова как нельзя лучше характеризуют впечатления, вынесенные Песталоцци из школы, и делают понятным, почему он так рано стал задумываться над вопросами воспитания и обучения: “уже в самые ранние юношеские годы, – писал он в своих предсмертных воспоминаниях (“Лебединая песнь”), – в моем сознании пробудилась мысль о том, чтобы сделать себя когда-либо способным принести свою лепту на улучшение народного образования”.

Много горя пришлось вынести Песталоцци в школьные годы. С формальной стороны учение его шло крайне плохо. Богато одаренная душа Песталоцци не могла сосредоточиться в узких рамках предлагаемого школьным обучением материала; мысль его постоянно работала над вопросами, не имевшими ничего общего с тем, что происходило на классных уроках. Самые предметы обучения, в той форме, в которой они подносились Песталоцци, не возбуждали в нем ни малейшего интереса, и он относился к ним с полной апатией. Неудивительно, что он доставлял своим учителям весьма частые случаи упрекать его в невнимательности, небрежности и просто лени, учителей раздражало то обстоятельство, что Песталоцци, вместо того чтобы смиренно выучивать, что от него требовалось, искал разъяснения, зачем нужно предлагаемое ему для изучения, или рассуждал о том, что предлагаемые ему знания можно преподавать более доступным способом. Учителя смотрели на Песталоцци как на тупицу, решительно ни к чему не способного. И их укрепляло в этом мнении то обстоятельство, что он вынес из школы весьма мало и, например, на всю жизнь остался не владеющим тайнами орфографии, имея при этом смелость совсем не придавать никакого значения сей

премудрости. “Главное в человеке – голова, – говорил по этому поводу Песталоцци, – а пудру можно купить в каждой лавочке”. Что же удивительного, что в глазах учителей, которые и за человека не считали того, кто ошибается в *ятях*, Песталоцци был просто идиотом, как они и аттестовали его.

Со школьными товарищами Песталоцци долго не мог сблизиться. Нигде в мире нет такой надутый, чванной буржуазии, как в Швейцарии, где она так долго играла роль господ-помещиков по отношению к сельскому населению. Дети такой буржуазии, учившиеся вместе с Песталоцци, смотрели с пренебрежением на этого “мужика”, родственные связи которого с деревней были им известны. Неприятные отношения, установившиеся между Песталоцци и его товарищами, еще усиливались благодаря тому, что он громко возмущался царившим тогда в школе взяточничеством и порождаемую им снисходительностью учителей к детям более зажиточных родителей. Вместе с тем Песталоцци вооружал против себя большинство своих товарищей: он всегда становился на сторону тех из соучеников, которые по каким-либо причинам (физические недостатки, происхождение от отцов-ремесленников, бедность) служили посмешищем для класса. Чувство врожденной справедливости заставляло Песталоцци восставать против этой травли несчастных, за что он, в свою очередь, сделался предметом самой грубой травли. Таким образом, уже в школе началась тяжелая, мученическая жизнь Песталоцци, полная неприятностей и преследований, продолжавшихся до самой его смерти. Вместе с тем уже в школе обнаружили во всем блеске прекрасные стороны характера Песталоцци, и здесь произошло то же, что происходило потом в течение всей его жизни: все, кто имел случай близко узнать Песталоцци, неизбежно поддавались чарующему влиянию его натуры и начинали глубоко любить его. К концу пребывания Песталоцци в школе все товарищи полюбили его, а некоторые из них сделались его друзьями на всю жизнь.

Окончив городскую школу, курс которой в Швейцарии значительно шире курса наших прогимназий, Песталоцци поступил в коллеж. Курс коллежа заканчивал среднее образование и начинал высшее. Если городские школы оставались тогда еще вне влияния духа времени, то в коллеже уже вполне проявлялось влияние XVIII века. Состав преподавателей Цюрихского коллежа был как нельзя более по душе Песталоцци. Это были благородные мечтатели, думавшие воспитанием подрастающего поколения подготовить лучшее будущее для своей родины. “Независимость, самостоятельность, благотворительность, самопожертвование и любовь к отечеству были лозунгом нашего

общественного образования, – говорит Песталоцци в своих записках. – Преподавание, которым мы пользовались в живом и привлекательном изложении, было направлено к тому, чтоб поселить в нас равнодушие к богатству и почестям. Нас учили верить, что бережливость и ограничение личных потребностей могут заменить богатство и что совсем не нужно большого состояния и высокого общественного положения, чтобы пользоваться и домашним счастьем, и гражданской самостоятельностью... Обладая только самыми поверхностными школьными познаниями о великой гражданской жизни Греции и Рима, мы мечтали насадить порядки этой гражданственности в родном кантоне... Желание противодействовать нравственному упадку моего отечества было присуще каждому истинно благородному гражданину и исходило из сердца, полного любви к родине”.

Таков был характер преподавания в колледже. Позднее, в старости, вспоминая годы обучения в коллеже, Песталоцци находил множество недостатков в постановке дела этого учебного заведения. “В той умственной пище, которую нам преподносили в эту эпоху, – писал Песталоцци, – недоставало простоты и самобытности... Дух преподавания в высокой степени способствовал развитию в молодежи мечтательного настроения и стремления к выполнению таких задач, сущность которых не была ею достаточно усвоена... При нашем умственном развитии мы не были способны основательно изучить и усвоить те практические знания, которые были необходимы для достижения этих высоких целей... Лично меня увлекала, так сказать, сущность предмета, и я никогда не задумывался над средствами к осуществлению того, чему я учился. У меня было желание видеть осуществленным то, что особенно действовало на мое сердце и мое воображение, но я совсем упускал из виду, что для практического осуществления нужны и практические средства...”

Это “мечтательное настроение”, стремление к насаждению в Цюрихе греческих и римских доблестей, без мысли о путях и средствах к осуществлению идеальных пожеланий, вызвали среди цюрихской (да и вообще швейцарской) молодежи очень оригинальное движение. Образовались тайные общества, в которых речь шла о том, какие добродетели нужно распространить в народе, какие прекрасные учреждения нужно создать. Члены обществ мечтали о своей будущей деятельности, полной добродетельных подвигов. Песталоцци принимал в этом движении самое деятельное участие, строя планы своей будущей деятельности и рисуя картины будущего благоденствия родины.

Как ни невинно было это движение, не шедшее дальше мечтаний, цюрихские власти смотрели на него косо, справедливо видя в нем одно из

опасных проявлений духа времени. Бедные мечтатели были подвергнуты преследованию, и в их числе Песталоцци, который попал даже в тюрьму, где пробыл, однако, недолго.

Песталоцци в это время окончил курс коллежа, и перед ним вставал вопрос о выборе деятельности. Что эта деятельность должна быть всецело посвящена народным массам, должна состоять в служении народу – было понятно само собою. Но в какой форме должна была выразиться эта деятельность? В чем всего более нуждался народ? На каком поприще можно было принести наибольшую пользу этому народу? Таковы вопросы, которые предстояло решить Песталоцци. Разумеется, в том юном возрасте, в котором был Песталоцци, решение подобных вопросов не кажется слишком трудным, и он быстро решал их, причем, конечно, столь же легко и отказывался от одного решения в пользу другого. В конце концов он, однако, этим путем вышел и на настоящую свою дорогу.

Прежде всего Песталоцци задумал сделаться юристом. Мысль о том, сколько страданий выпадает на долю простого народа вследствие незнания им хитросплетений юриспруденции, сколько ущерба наносится благосостоянию народа путем злоупотреблений в этой области и какое обширное поприще открывается здесь для человека, который поставит себе целью защиту и охрану прав народа и помощь ему во всех случаях, требующих юридической защиты, – эта мысль соблазнила Песталоцци, и он поступил в особое учебное заведение, готовившее юристов.

Вскоре, однако, сухое преподавание юридической мудрости, напиравшее, главным образом, на изучение римского права, вызвало в Песталоцци полное разочарование: вся эта юридическая казуистика решительно не соответствовала его живой натуре, и нет сомнения, что он оставил бы и сам юридическую школу, если бы свершение этого шага не ускорилось одним обстоятельством.

Во время пребывания в юридической школе Песталоцци поддерживал тесные отношения со своими бывшими товарищами по коллежу, остававшимися прежними пылкими мечтателями. Они все так же мечтали возродить общество путем распространения строгих нравственных правил и сурового образа жизни. Преобразование это они начали с себя и стали вести совершенно аскетическую жизнь. Они ели самую суровую пищу, ходили в самых дешевых костюмах, спали на голых досках и т. д. Песталоцци настолько увлекся этой “подготовкой к правильной жизни”, что пробовал даже питаться одной травой. Опыт этот привел к тому, что он дошел до полного истощения сил, после чего снова возвратился к обычной человеческой жизни. Гораздо дороже обошелся этот аскетизм лучшему

другу Песталоцци, которого последний глубоко любил. Каспар Блунчли представлял собою в высшей степени выдающуюся личность как в умственном, так и в нравственном отношении. Он имел сильное влияние на друга, которое продолжалось и после смерти Блунчли, до конца жизни Песталоцци. Последний рассказывает, что в трудные минуты жизни, когда он не знал, как ему поступить, он воскрешал в своей памяти образ этого человека и задавал себе вопрос, как поступил бы в данном случае тот. Вот этот-то чуткий и последовательный Блунчли с таким усердием практиковал воздержание и упрощение жизни, что совершенно подорвал свое здоровье и умер на самой заре своей жизни. Умирая, Блунчли заклинал Песталоцци бросить занятия юриспруденцией, доказывая ему, что для юриста нужны находчивость, умение приладиться к людям и неразборчивость в средствах – качества, которыми Песталоцци отнюдь не блистал. Смерть Блунчли произвела сильное впечатление на Песталоцци. Он сам заболел и долго был в опасном положении. Оправившись, он немедленно распростился с юридической школой.

Но что же делать? Ответ был дан как самою натурою Песталоцци, так и новым подроспевшим влиянием. В это время общее внимание привлекал к себе Руссо, и его идеи нашли вполне подготовленную почву в душе Песталоцци. Да, только там, в деревне, на лоне природы, где люди живут естественной жизнью, свободной от всяких условностей, только здесь человек ищет, как развернуть свои силы и принести действительную пользу... Это вполне соответствовало всегдашним симпатиям Песталоцци к деревне и ее обитателям. С этого времени для него не остается сомнения в том, что он должен жить в деревне. Но в качестве кого он появится в деревне? Что именно он будет там делать? Здесь перед мысленным взором Песталоцци встал образ его покойного деда-священника. Он вспомнил все подробности жизни этого “друга людей”, посвященной другим людям, вспомнил, как много этот старик делал для своих прихожан, какую громадную роль в их жизни он играл, – и ответ на вопрос был найден: Песталоцци решил сделаться священником.

Вскоре, однако, и это решение было оставлено. Реформатскому пастору необходимо быть проповедником ввиду того особого значения, которое имеет проповедь в реформатском богослужении. Но когда Песталоцци, готовясь к священническому служению, выступил впервые на церковной кафедре, дебют оказался совершенно неудачным. К этому присоединилась еще мысль о том, что для приобретения надлежащего влияния на поселян необходимо сойтись с ними самым близким образом, а для достижения этой цели необходимо сделаться самому поселянином-

земледельцем. Таким образом, в конце концов Песталоцци решил “идти в деревню” и “сесть на землю”.

Сделав выбор, Песталоцци начал готовиться к земледельческому поприщу самым серьезным образом. В это время по всей Швейцарии пользовался славой образцового хозяина некто Чиффели. К нему-то Песталоцци и отправился, и пробыл у него целый год в качестве простого работника. Этот год принес большую пользу Песталоцци. Прежде всего он укрепил его здоровье, слабое от рождения и еще больше расшатанное аскетическими экспериментами. Затем Песталоцци лично на себе испытал все прелести существования швейцарского сельского рабочего. Наконец он приобрел навык к физическому труду, которого предшествующая жизнь не могла в нем развить. Собственно же к сельскохозяйственной деятельности Песталоцци, и после годового пребывания в имении Чиффели, оставался столь же слабо подготовленным, как и до поступления туда. Горе состояло в том, что Песталоцци изучил в имении Чиффели не то, что и как здесь делается, а что и как *должно делаться*. Сам Чиффели, большой новатор, хотя и осторожный практик, был увлечен своим учеником и охотно поверял ему свои планы и соображения. Единственное, что вынес Песталоцци от Чиффели по части сельского хозяйства, – это мысль о необходимости коренного преобразования швейцарского сельского хозяйства и целый ряд смелых планов этого преобразования; что же касается практичности Чиффели, то Песталоцци меньше всего способен был усвоить ее.

Возвратившись от Чиффели, Песталоцци вскоре делается сельским хозяином, и с этого времени начинается новый период его жизни – начинается практическая жизнь. Вступление в этот период ознаменовывается фактом, имевшим громадную важность в жизни Песталоцци, – его женитьбой на Анне Шультегесс. Прежде чем перейти к изложению событий нового периода жизни Песталоцци, мы скажем еще несколько слов о первых опытах его в области писательства, имевших место уже во время его пребывания в коллеже.

Стремление излагать свои мысли письменно и делиться ими с другими явилось у Песталоцци очень рано, но он долго никому не решался показывать свои писания и рвал их. Однако еще 19-летним юношей мы видим его деятельным сотрудником журнала, который издавался наставниками коллежа, давшего Песталоцци образование. Статьи в этом журнале лучше всего характеризуют доброго, но непрактичного Песталоцци. Это не что иное, как длинный список добрых пожеланий. Самая форма статей своеобразна. Статьи так и начинались: “Желательно, чтобы” и т. д., и это “желательно” переполняло все статьи до конца. И какие

наивные и подчас элементарно невинные пожелания высказывал будущий великий воспитатель! Он “желал бы”, чтобы публично не распевались легкомысленные куплеты; чтобы не продавались соблазнительные картины; чтобы родители заботились о выборе товарищей для своих детей; чтобы были общедоступно изложены правила воспитания; “чтобы каждый человек потрудился образовать хоть одного такого же: ведь тогда число честных людей сразу удвоилось бы”; “чтобы склонность к злословию и пустая завистливая болтовня были бы изгнаны из повседневных бесед”; “чтобы те, которые проводят время перед зеркалом в самонаслаждении своею красотой и величием, вдруг показались бы сами себе некрасивыми и не величавыми, и вследствие этого наполнили бы бесплодно утрачиваемые часы каким-нибудь другим, более дельным занятием”; “чтобы тем из тружеников, которые ведут строгий, уединенный, бережливый, независимый образ жизни, оказывалось то уважение, которого они заслуживают”; “чтобы все мои граждане знали свою отечественную историю и основные законы своей страны”, и т. д. Наивный мечтатель серьезно полагал, что стоит только высказать побольше добрых желаний, чтобы люди прониклись ими и стали добродетельными. Понятно, что эти “литературные упражнения” вызывали только улыбку и злые насмешки над автором, что крайне удивляло и огорчало Песталоцци, и наконец заставило его надолго прекратить свои попытки писательства.

ГЛАВА II. ПЕСТАЛОЦЦИ – СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИН. НАЧАЛО ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сближение с Анной Шультгесс. – Женитьба. – Семейная жизнь. – Покупка Нейгофа. – Сельскохозяйственная деятельность и ее печальные результаты. – Дети-сироты. – Первая школа Песталоцци. – Ее неудача. – Отношение общества к Песталоцци

Оригинальный во всем, Песталоцци и в любовной истории своей оказался совершенно своеобразным. Его сближение с будущей женой началось совсем необыкновенным образом, а его любовные письма весьма мало напоминали обычный тип этого рода литературы.

Анна Шультгесс была дочерью богатого цюрихского купца, типичнейшего представителя швейцарской буржуазии, смотревшего с презрением на всех, кто не принадлежал к составу этой буржуазии. Знакомство Песталоцци с Анной началось у постели его умиравшего друга Каспара Блунчли. Последний был в дружеских отношениях с Анной, на которую чистая, возвышенная натура Блунчли производила такое же неотразимое, чарующее впечатление, как и на Песталоцци. Блунчли одинаково горячо любил и Анну, и Песталоцци, и они платили ему той же монетою; оба они не отходили от постели умирающего друга, а когда он умер, слезы их смешались над мертвым. Анна была чрезвычайно красива, грациозна, ловка и находчива; Песталоцци имел крайне некрасивое лицо; о ловкости и изяществе применительно к этому угловатому, застенчивому и ненаходчивому юноше и речи не могло быть. Анна была дочерью очень богатых родителей; Песталоцци был бедняком. Наконец, Анна была старше Песталоцци на шесть лет. Словом, никому и в голову не приходило, что Анна и Песталоцци сблизятся до того, что вступят в брак. Сам Песталоцци полагал, что он может “без всякой опасности” любоваться Анной и удивляться ее красоте и уму. Когда их общий друг умер, они начали переписываться, чтобы, вспоминая о Блунчли, “поддерживать свою мысль на той высоте, на какую она была поднята влиянием их друга”. И действительно, первоначально в их письмах речь шла исключительно о Блунчли. Но вдруг Песталоцци заметил, что его привязывает к Анне не только одно воспоминание о покойном друге. Это открытие испугало

Песталоцци, и он первоначально пытался как-нибудь совладать со своим чувством. Но, конечно, это оказалось напрасным, и Песталоцци после целого ряда колебаний решил написать Анне письмо с объяснением в любви. Это письмо 20-летнего влюбленного настолько характерно, что мы передадим здесь вкратце его содержание.

Песталоцци начинает с упоминания о своей наружности. “О моей внешней неприглядности я не хочу даже говорить: всякий знает, какой я красавец, какой ловкий человек”. Затем он подробно пересчитывает недостатки своего характера и указывает на свое слабое здоровье. Он обещает предмету своей любви посвятить свои силы тому, чтобы доставить ей счастье, и полагает, что он очень склонен к семейной жизни. Но вместе с тем он заявляет, что ему, несомненно, “придется переживать жизнь, полную горя и трудов: совершенно неожиданно случайные обстоятельства могут отравить мои радости и возмутить спокойствие моего духа, потому что на беды отечества и на несчастья друзей я буду смотреть как на свои собственные, и когда зашла бы речь о спасении отечества, конечно, я забыл бы и жену, и детей”. “Вы знаете теперь и мою силу, и мою слабость, – заканчивает Песталоцци, – решайте! Вам известно, что, при моей впечатлительности, душевные потрясения сильно действуют на меня, но это не должно вас останавливать, и если вы признаете за лучшее отказать, то и откажите: надеюсь, что во мне найдется достаточно силы, чтобы отнестись к этому, как следует разумному человеку и христианину”...

Анна, успевшая уже оценить высокие душевные достоинства Песталоцци и полюбившая его, ответила на его письмо полным согласием разделить его судьбу. Однако о браке пока нечего было и думать. Отец и мать Анны никогда не дали бы своего согласия на брак их дочери с человеком “без положения”. Итак, Песталоцци предстояло добиться сначала “положения” и уже тогда просить руки своей возлюбленной. В ожидании этого времени Песталоцци и его невеста скрывали от всех свои отношения и редко виделись, зато много и часто переписывались.

Когда Песталоцци решил сделаться земледельцем, в принятии этого решения играло известную роль также соображение о том, что этим путем он достигнет известного общественного “положения”. Песталоцци в своей детской наивности не понимал, что в глазах таких истых буржуа, какими были родители Анны, он не только ничего не выигрывал, “садясь на землю”, но терял всякое уважение их. Анна была женщина более практическая, нежели Песталоцци; но красноречивое описание тех выгод, которые ожидают молодых людей при занятии земледелием, увлекло ее, и влюбленные решили познакомить родителей Анны с планами Песталоцци.

Понятно, что после этого Шультегессы еще меньше спешили выдать свою дочь за такого чудака, как Песталоцци. Молодым людям приходилось снова ждать.

Песталоцци стал искать небольшой участок земли, на котором он мог бы вести интенсивное хозяйство, преимущественно собственными руками. Он мечтал разводить овощи, причем намерен был применить новый, еще неизвестный способ сохранения их, благодаря чему надеялся получить значительные барыши. Затем он имел в виду завести молочное хозяйство, которое тоже должно было вестись по новому способу. Но самым важным занятием стало бы разведение марены. Обработка земли должна была вестись новым плугом, а для улучшения качеств почвы должны были употребляться новые удобрения – мергель, а главное – разного рода отбросы: обрезки кож, обломки рога, отбросы шерсти и т. д. Словом, все должно было вестись по-новому, чтобы служить наглядным образцом улучшений для местного населения.

Участок земли около ста десятин был найден. Это была совершенно пустынная земля, никогда не подвергавшаяся обработке и требовавшая громадного труда для приведения ее в годный для земледелия вид. Но зато эта земля была дешева, что для Песталоцци было крайне важным, так как он располагал лишь небольшими средствами, оставшимися по наследству от отца. Средства эти целиком пошли на покупку земли и постройку дома, который Песталоцци, как бы сразу показав свою непрактичность, выстроил в несколько раз большим, нежели в том была надобность. Вести хозяйство было уже не на что. К счастью, предприятие Песталоцци вызвало общий интерес, и один богатый банкир, родственник родителей Анны, тоже по фамилии Шультегесс, решился вступить в компанию с Песталоцци для разведения марены, для чего внес свой денежный взнос в предприятие. Это обстоятельство подействовало на родителей Анны, которые, видя, что такой практичный человек, как банкир Шультегесс, счел возможным войти в близкие деловые отношения с Песталоцци, стали думать о последнем лучше, нежели прежде, и дали согласие на брак с ним дочери.

С этого времени жизнь Песталоцци, несмотря на всевозможные неудачи, преследовавшие его до самой смерти, получила более отрадный характер благодаря близости любимого и любящего существа. Жена Песталоцци была постоянным другом и поддержкою его, принимая самое деятельное участие во всех его предприятиях, деля с ним все горести и радости и заботясь матерински о своем муже, который, постоянно занятый внутренней работой, совсем забывал об удовлетворении своих насущнейших потребностей. Для Песталоцци было великим счастьем

иметь такую жену, и он отзывается о ней в своих записках в самых теплых выражениях, называя ее “чистейшей и благороднейшей душой”.

В 1770 году, для полноты счастья четы Песталоцци, у них родился сын, единственный бывший у них ребенок. По этому поводу Песталоцци сделал следующую любопытную запись в дневнике: “Боже! Милость Твоя ко мне – свыше меры. Ты сохранил жизнь и здоровье моей дорогой жены; рождением ребенка Ты сделал меня отцом человека, который должен жить вечно. Ниспошли мне Духа Твоего, дай мне новую силу, создай во мне новое сердце, новую крепость!.. Мне страшно!.. Неужели когда-нибудь, вследствие моего нерадения, неподготовленный к выполнению своего человеческого назначения мой сын выступит обвинителем перед вечным Судьею против того, кто обязан был вести его верным путем к совершенствованию? О, тогда лучше бы мне не видеть твоего лица, лучше бы умереть, не выдавши тебя... Неужели какой-нибудь порок осквернит твою душу, мое милое дитя? Милосердый Боже! Сохрани меня от этого страшного несчастья”.

Счастье семейной жизни омрачалось, однако, внешними неудачами, а вскоре и материальной нуждой. Совершенно непрактичный Песталоцци думал помочь этому недостатку приглашением помощника, в практичность которого он глубоко верил. Господин этот оказался надутым самохвалом, решительно ничего не понимавшим в деле, но зато относившимся с необычайным высокомерием и к рабочим, приглашенным в Нейгоф (так назвал Песталоцци свое имение), и к крестьянам-соседям. Песталоцци это заметил тогда, когда уже было поздно, – когда отношения с соседями были испорчены и рабочие стали наниматься в Нейгоф крайне неохотно, и притом только такие плохие, которых больше никуда не брали. Введенные Песталоцци усовершенствованные орудия обработки земли оставались без употребления, так как рабочие отказывались работать ими. Придуманные Песталоцци способы удобрения оказались убыточно-дорогими. В самом хозяйстве Песталоцци больше проделывал опыты и постоянно менял систему. Понятно, что при таких условиях хозяйство приносило только убытки. Слухи о хозяйничании Песталоцци, представлявшие притом дело в значительно более печальном виде, дошли до его компаньона, банкира Шультегесса, и тот поспешил забрать свой капитал из предприятия. На уплату банкиру его капитала пошло приданое жены Песталоцци, и, таким образом, через два года семья его оказалась без всяких средств, с одной землею.

Мечты о поднятии крестьянского хозяйства пришлось отложить; приходилось заботиться о том, чтобы как-нибудь прокормить семью.

Песталоцци сдал часть земли в аренду окрестным поселянам, а другую стал обрабатывать сам, при небольшой помощи наемных рабочих, разводя обычные хлебные растения и имея молочных коров. Дохода, получаемого этим путем, было бы достаточно для безбедного существования семьи, если бы Песталоцци, при своей доброте, не увлекся новым делом, поглотившим его скудные средства.

При том бедственном, стесненном, бесправном положении, в котором тогда находилось сельское население Швейцарии, последняя была наполнена толпами нищих, среди которых было множество детей, часто не имевших родителей и вообще не имевших пристанища. Смотря на этих несчастных, чья будущность определялась словами – нищенство, разврат и преступление, – Песталоцци не мог не болеть душою. И он решился приютить в Нейгофе столько из них, сколько окажется возможным.

Интерес к вопросам воспитания проявился у Песталоцци еще в ранней юности. Мечтая на школьной скамье о преобразовании отечества и полагая, что это преобразование главным образом должно состоять в улучшении нравственности отдельных лиц, а отсюда уже и в изменении общественных нравов и порядков, Песталоцци считал воспитание могущественнейшим средством для достижения означенной цели. Воспитать молодое, подрастающее поколение в привычках к труду и скромной жизни и вместе с тем развить его умственные силы надлежащим образом – значило положить основы совсем новому строю жизни. Теперь, когда Песталоцци видел, к каким печальным последствиям приводит отсутствие какого-либо воспитательного влияния на малолетних нищих, бродивших по Швейцарии, он еще большее значение стал придавать *разумному* воспитанию и решил испытать воздействие его на этих детях-бродягах.

Средств для осуществления задуманного предприятия у Песталоцци не было никаких. Но это меньше всего могло смутить такого мечтателя. Он утверждал в газете “Швейцарский листок”, что дети, исполняя посильную для них работу, не только в состоянии покрывать издержки своего содержания, но еще могут давать остаток, сбережение которого составит некоторую сумму, достаточную для юноши, выпускаемого из заведения в жизнь. Работы же, которыми нейгофские дети должны были приобретать средства для своего содержания, состояли в участии их в хозяйственных работах по имению и, кроме того, в прядении хлопка и ткацких бумажных материй. Добывая этим путем средства к жизни, дети вместе с тем приобретали бы практические познания, которые должны были обеспечить им кусок хлеба в дальнейшей жизни.

Желая, чтобы начатое им дело не прошло бесследно для страны, чтобы

основанный им приют был только первым учреждением такого рода, чтобы за ним последовал целый ряд подобных же учреждений во всех концах Швейцарии, Песталоцци с первых дней существования этого своего приюта стал знакомить с положением дел в нем швейцарское общество. Совершенно новая для того времени, идея Песталоцци привлекла общее внимание, тем более что ее стали пропагандировать самые серьезные швейцарские публицисты этой эпохи, например, редактор серьезнейшего и влиятельнейшего тогдашнего органа печати Швейцарии Изелин. Мысль Песталоцци вызвала общее сочувствие, и общее внимание было обращено на оригинальное заведение в Нейгофе. К сожалению, как скоро оказалось, это сочувствие швейцарского общества было чисто платоническим.

Из двух целей, которые преследовал Песталоцци в своем воспитательном приюте, первая и наиболее важная— воспитательное воздействие на собранных бродяжек— была осуществима благодаря тому, что Песталоцци горячо полюбил своих питомцев и вкладывал всю свою душу в начатое им дело. Он набрал столько бездомных детей, сколько их мог вместить огромный, выстроенный им дом, теперь очень пригодившийся. Обязанности воспитателя и вообще все заботы об этом огромном скопище детей разных возрастов и нередко с самыми дурными привычками, приобретенными во время бродяжеской жизни, лежали всецело на Песталоцци, так как содержать помощников было не на что, да и оказалось почти невозможным найти помощников, которые разделяли бы воззрения Песталоцци и относились бы к детям так, как к ним относился сам Песталоцци, а не с принятой в тогдашних школах грубостью. Единственным помощником воспитателя была его жена, всегда сочувственно относившаяся ко всем его начинаниям. Вдвоем они заботились о том, чтобы их многочисленные питомцы были сыты и одеты; учили их труду, занимались книжным обучением их, надзирали за ними и т. д. Дети, как бы ни были они испорчены, всегда ценят ласку и привязываются к тем, кто их любит. Неудивительно, что они полюбили Песталоцци, и его слово, его желание было для них законом. Через какой-нибудь год собранные в Нейгофе бродяжки были неузнаваемы. Это были опрятные, послушные, милые дети, которые изо всех сил старались вознаградить своего “отца” самой прилежной работой, усердным учением и безукоризненным поведением. Такой результат был достигнут при отсутствии в Нейгофе каких-либо наказаний и искусственных мер поощрения при полном нестеснении детской живости и склонности к забавам и играм.

Но вместе с тем конец первого же года существования нейгофского

приюта ясно показал, что здание этого “детского царства” построено на песке. Мечта Песталоцци о том, что дети сами могут зарабатывать на свое содержание, оказалась слишком далекой от действительности, и большая часть всех расходов пала на воспитателя. К концу первого же года ресурсы его истощились. Тогда Песталоцци обнародовал (в декабре 1775 года) “Просьбу к друзьям человечества о поддержке заведения, имеющего целью дать воспитание и работу бедным крестьянским детям”. “Просьба” эта вызвала прилив пожертвований на доброе дело, но их было совершенно ничтожное количество: всего 1400 франков. Эта сумма могла поддержать заведение лишь на самый короткий срок. Песталоцци, однако, не падал духом. Он был уверен, что все дело в том, чтобы продержаться возможно дольше, так как результаты деятельности заведения будут говорить сами за себя, и общество непременно придет к нему на помощь. Песталоцци начал продавать все, что только можно было продать, закладывать, что можно было заложить, – и продолжал содержать приют. На тупых швейцарских буржуа такой образ действий Песталоцци производил впечатление безумия. И в самом деле, разве не безумно было отдавать на доброе дело не только все свое время, все свои силы, но и последние средства, и превращать собственную семью в нищих? Даже лучшие друзья Песталоцци недоумевали, из-за чего он приносит подобные жертвы, и спрашивали его, какое вознаграждение получает он, собственно, для себя из этого дела? Песталоцци отвечал на эти недоразумения следующей горячей тирадой: “Какое неопишное блаженство видеть вырастающими и расцветающими юношей и девушек, которых нищета ставила так близко к гибели! Какое счастье встречать улыбку довольства и спокойствия на их лицах, приучать их руки к честному труду, обращать их мысль к Создателю, замечать слезы молящейся невинности, провидеть нравственную, добродетельную будущность там, где можно было считать уже все погибшим! Несказанное блаженство видеть перед собою человека, образ Бога, в таких разнообразных проявлениях и думать, что в бедном, всеми оставленном ребенке нищего поденщика проявит себя гений и нравственное величие, которых никто не посмел бы и ожидать!”... Наконец настало время, когда нечего было больше ни продавать, ни закладывать. Обитателям Нейгофа угрожала голодная смерть. Приходилось распускать приют. Можно представить себе, как тяжело было Песталоцци, вложившему всю свою душу в это дело, потратившему на него все свои средства и столько сил и привязавшемуся к своим питомцам со всей силой любви, к которой был способен только он, – отпускать этих несчастных снова на нищенскую, бродяжескую жизнь на большой дороге! Но делать было нечего: самому

Песталоцци приходилось надевать суму, чтобы прокормить свою собственную семью...

Положение Песталоцци в это время было тем тяжелее, что от него, как безумного, отвернулись решительно все. Были люди, которые любили его; но и они считали его не в своем уме и избегали встреч с ним. Единственный друг, не оставлявший его даже в этот тяжелый период жизни, книгопродавец Фюсли прямо сказал Песталоцци, что ему не миновать сумасшедшего дома. Скорбное, измученное лицо Песталоцци, его согнувшаяся фигура, преждевременная седина, молва о его безумии – все это заставляло детей указывать на него пальцами и бегать за ним, когда он где-либо показывался. Песталоцци вынужден был сидеть дома, чтобы не слышать намеков и прямых заявлений относительно своего сумасшествия.

В это-то тяжелое время единственной поддержкой для Песталоцци была его жена. Он не только не слышал от нее ни слова упрека, но она постоянно ободряла его. И именно благодаря ей Песталоцци не пал духом, а нашел в себе силы для того, чтобы в это тяжелое время заниматься литературным трудом и вместе с тем разрабатывать начала педагогической системы, которая стала создаваться при занятиях с нейгофскими питомцами. Мысль его по-прежнему работала над вопросами воспитания. “Мой план не осуществился, – писал он в своих записках, – но в огромных усилиях опыта почерпнул я и огромную истину, убеждение в правильности моего плана никогда не было так сильно, как после полнейшей неудачи его осуществления. Теперь более, чем прежде, рвалось мое сердце к намеченной цели”...

Долго, однако, – целых два десятка лет – должен был ожидать Песталоцци, пока снова явилась для него возможность приложить свои педагогические идеи к практике. Это случилось уже в 1798 году. А пока Песталоцци мог только теоретически разрабатывать свои идеи и распространять их в книгах...

ГЛАВА III. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕСТАЛОЦЦИ

“Вечерние часы отшельника”. – Сочинение о сторожах. – “Липгардт и Гертруда”. – Успех этой книги. – Ее идеи. – “Швейцарский листок”. – “Христоф и Эльза”. – Мелкие сочинения. – Продолжение “Липгардта и Гертруды”. – Частная жизнь Песталоцци

В тяжелые дни, последовавшие за закрытием приюта в Нейгофе, Песталоцци написал “Вечерние часы отшельника”. Сочинение это прошло почти незамеченным при своем появлении. Между тем в нем уже скрываются основные начала новой педагогики, провозглашенной Песталоцци. Книга представляет собою ряд афоризмов, посвященных разным вопросам и преимущественно вопросам воспитания. Приводим здесь некоторые из этих афоризмов:

“Все люди по природе своей равны и имеют один путь к достижению своего назначения. Природные дары всех и каждого должны быть развиты до возможной человеческой мудрости. В этом состоит общее человеческое образование, и оно должно предшествовать всякому специальному, всякому сословному образованию”.

“Духовные силы ребенка не должны быть увлекаемы в далекие, чуждые пространства, прежде чем они не окрепли и не просветлели, упражняясь на близком, окружающем, родном”.

“Люди сами губят в себе свою силу и нарушают покой и равновесие своего существа, если они, не образовав своего духа реальным знанием действительных предметов, не доведя его до истины и мудрости, пускаются в бесконечный сумбур словесных уроков и мнений и в основу первого развития своих сил кладут, вместо истины, добытой из наблюдения над реальными явлениями, – звук, слова и речь”.

“Словесному учению, болтовне должны предшествовать реальные знания”.

“Способ обучения, сообразный с природой, не имеет в себе ничего насильственного”.

Такие воззрения и в наше время еще очень и очень далеки от того, что делается на практике в деле воспитания и обучения, а в то время, когда они были высказаны, шли уже совсем вразрез не только с постановкой

школьного обучения, всецело основанного на изучении одних “слов” и всего “чуждого”, знать не хотевшего “реального” и близкого, “родного”, но также и с крепко державшимися в обществе рутинными, схоластическими взглядами на цели и средства воспитания. Теперь мнения, подобные вышеприведенным, имеют за собой если не школу, то общество; тогда же против них были и школа, и общество. Неудивительно, что на книгу Песталоцци не было обращено внимания, и мнения, высказанные в ней, показались разве только одним из проявлений чуждого Песталоцци.

Неудача “Вечерних часов отшельника” была для Песталоцци предостережением против вступления его на путь литературной деятельности. Однако в нем слишком силен был зуд писательства, чтобы он мог удержаться от дальнейших попыток на этом пути. Вскоре по выходе “Отшельника” Цюрих произвел реформу своих военных сил. Реформа эта состояла в том, что несколько десятков инвалидов, составлявших “войско” Цюриха и одевавшихся дотопе в обычное удобное платье, перерядились в крайне неудобные мундиры, испещренные кантами и позументами. Песталоцци по этому поводу набросал небольшое сочинение, в котором, смеясь над этим переряживанием старых сторожей, доказывал необходимость серьезных, действительных реформ всех сторон швейцарской жизни. Рукопись этого сочинения лежала у Песталоцци на столе, когда к нему, в его отсутствие, зашли упоминавшиеся выше книгопродавец Фюсли и его брат – художник, приехавший из Лондона и пришедший познакомиться с Песталоцци. В ожидании Песталоцци братья стали просматривать рукопись, причем художник пришел в восторг от оригинальности мыслей и талантливости изложения. Он наговорил Песталоцци кучу похвал по поводу его беллетристического таланта и убедил своего брата настаивать, чтобы Песталоцци взялся за перо беллетриста, говоря, что здесь вся его будущность.

Восторженный отзыв художника Фюсли и настояния его брата-книгопродавца заставили Песталоцци сесть за сочинение рассказов. Брался он за это дело единственно с целью приобретения средств для своей семьи, дошедшей в это время до последней степени нищеты. Понятное дело, что такая “голодная” беллетристика оказалась не из успешных. Песталоцци написал в самый короткий срок шесть повестей; но все они показались ему настолько слабыми, что он уничтожил их. Наконец, седьмое произведение, носившее название “Липгардт и Гертруда”, показалось ему удовлетворительным, и он снес его Фюсли. Книга была напечатана и имела необыкновенный успех, сразу сделавший автора ее знаменитостью.

В настоящее время нельзя без улыбки читать это сентиментальное

произведение, в котором действуют злодеи с черной, как у дьявола, душою и добродетельные люди ангельской чистоты. Содержание книги довольно наивное. Вот оно в нескольких словах. Старшина деревни Боннал, Гуммель, – вместе с тем кабатчик, ростовщик и подрядчик. Он забрал в свои руки все население, которое задолжало ему и пьянствует едва ли не без просыпа. Между должниками Гуммеля и посетителями его кабака есть каменщик Липгардт, имеющий добродетельную жену Гертруду и кучу детей. Эта-то Гертруда и есть центр всей повести. Долго она терпела последствия того положения, в которое поставил Гуммель всю деревню, в том числе и ее мужа, пока не решила бороться с представителем зла. Добродетельные нравоучения ее спасают от кабака мужа и нескольких соседей. Но ей этого мало. Она хочет спасти всю деревню от пут, наложенных Гуммелем. Борьба с последним, однако, ей не под силу, она ищет союзника и находит его в лице соседнего помещика Арнера, необыкновенно добродетельного господина. В конце концов добродетель торжествует, порок посрамлен и запрятан в тюрьму, и в деревне начинается совсем новая жизнь, полная добродетелей, в которых обыватели изощряются наперерыв друг перед другом.

Без сомнения, книга с таким наивным содержанием в наше время едва ли имела бы успех. Но XVIII век в этом отношении представлял совсем иное. Именно сентиментальная литература тогда и пользовалась успехом, и, например, знаменитый роман “Павел и Виргиния”, неестественнейшая сентиментальность которого теперь может заставить только смеяться, тогда выходил в сотнях изданий и заставлял проливать слезы всех читавших эту забавнейшую книгу. Неудивительно, что и книга Песталоцци пришлась по вкусу тогдашней публике, и автору должно быть поставлено в заслугу, хотя, быть может, и невольную, то обстоятельство, что он избрал для пропаганды своих идей именно такую форму, благодаря которой они сделались известными громадному числу читателей.

Успех книги превзошел даже ожидания Фюсли художника. Все газеты и журналы заговорили о Песталоцци как о выдающемся писателе. Он стал получать от разных обществ адреса, медали и премии за столь полезный труд. Сильные мира сего стали интересоваться Песталоцци и его идеями, и он получил приглашения от соседних государей переселиться в их владения и начать там осуществление своих идей. Книга переводилась на разные языки. Приобретая громадную популярность среди образованных классов населения, книга проникла и в народную среду, чего особенно желал Песталоцци, так как он предназначал книгу именно для народа.

Когда прошел первый пыл восторга от успеха книги, Песталоцци был

глубоко опечален. Он убедился, что книга его не понята весьма и весьма многими, которые видели в ней только художественное произведение и совсем не замечали положенных в основу ее идей. Еще больше печалило его отсутствие практических результатов от выхода книги. Хотя Песталоцци в это время было уже 35 лет, он был наивен, как ребенок. Он мог воображать, что после появления его книги страна закишит Гертрудами и Арнерами, а Гуммели немедленно повсюду исчезнут, – и так как этого не произошло, он считал свою книгу бесполезной. Польза, однако, от книги была огромной – и для самого Песталоцци, и для общества. Песталоцци сам не подозревал, что он формулирует в книге целую новую педагогическую систему, и догадался об этом только тогда, когда стал просматривать написанное уже в печати. “Я даже не думал, – пишет он, – что моя книга представляла удачное изображение того идеала и тех основных положений и взглядов, которыми я руководствовался еще гораздо раньше в моей неудачной воспитательной попытке у себя в деревне. А между тем она изображала как то, так и другое с удивительной правдивостью. Я даже не знал тогда такого выражения: “народное образование” и ни от кого ничего на эту тему не слышал. Но мое сознание и понимание сущности этой идеи, и способ практического ее приложения в массе народа при отсутствии какой-либо народно-образовательной организации вполне олицетворены в образе Гертруды”.

Важнейшей стороной книги именно и являются идея важности и необходимости народного образования и совершенно новые воззрения на задачи и способы начального образования и воспитания. Ознакомление тогдашнего общества с этими воззрениями, пропаганда идеи народного образования и составляют бесценную заслугу книги Песталоцци.

Источник зла в народе, причина, по которой Гуммели господствуют в деревне, – это невежество. Дайте народу свет образования – и он заживет счастливейшей жизнью. Заботиться о распространении этого света есть долг всех образованных людей, которые должны идти по следам Арнера. Главным очагом начального воспитания и образования должна быть семья. Как должно вестись это воспитание и образование, о том говорит Гертруда, воспитывающая и обучающая своих детей. Дети ее с ранних лет учатся, но прежде они учатся выполнять домашние и полевые работы и затем уже приступают к грамоте. При этом дети Гертруды не столько учатся, сколько развиваются. Знания их не обширны, но то, что они знают, они знают основательно, потому что эти знания восприняты их внешними чувствами, проверены ими на опыте, получены из жизни, а не из книг. Обучение Гертруда ведет именно не по книге, а пользуясь обстановкой и жизнью.

Различные знания дети Гертруды приобретают сами из жизни, а Гертруда только обращает их внимание на различные явления природы и жизни и дает им объяснения. Дети, таким образом, учатся, сами того не замечая. Одна из глав “Липгардта и Гертруды” так и озаглавлена: *“Не искусство, не книга, а жизнь должна быть основанием всякого воспитания и образования”*.

Неудивительно, что подобные идеи, совершенно новые для того времени и основательно расходившиеся со всем строем школьного обучения и с тем порядком, при котором образование являлось достоянием лишь небольшого меньшинства, – казались многим странными, а иным были просто непонятны. Точно так же нашлись люди, которые увидели в книге Песталоцци яркое изображение *внутренней* порчи сельского населения. Это очень огорчило Песталоцци, и он решил написать новую книгу, в которой, с одной стороны, развивались бы и выяснялись идеи, изложенные в “Липгардте и Гертруде”, а с другой – было бы указано, что причина порчи сельских нравов и печального положения сельского населения заключалась в несправедливости тогдашних порядков. Эта новая книга носила название “Христоф и Эльза”. К сожалению, в печати появилась только первая часть книги, так как она вызвала такой ропот в высших классах Швейцарии, что издатель не решился печатать ее продолжение.

Одновременно с сочинением “Христофа и Эльзы” Песталоцци издавал газету “Швейцарский листок”. Газета выходила только один год (1782). Песталоцци издавал свою газету, так сказать, кустарным способом. Он был и редактором, и издателем, и единственным сотрудником, и корректором, и экспедитором, и конторщиком. В газете подвергались обсуждению все стороны швейцарской жизни, и притом в тоне, меньше всего нравившемся швейцарской буржуазии, которая одна только и могла тогда составлять контингент подписчиков. Сам Песталоцци понимал, что газета его придется не особенно по вкусу публике, и в первой же статье с горечью говорил, что для тогдашней читающей публики истина – “слишком сильное лекарство” – и что перед этой публикой нужно являться, “непрерменно облачаясь в парадную одежду и предъявляя ученый диплом”, чего он, Песталоцци, отнюдь не намерен был делать. Само собою разумеется, больше всего места Песталоцци уделял в “листке” вопросам воспитания, причем настойчиво пропагандировал свои излюбленные идеи о предоставлении детям свободы, о внушении им правил и знаний путем сознательного усвоения, о пагубности “превращения человека в машину”.

После издания “Швейцарского листка” Песталоцци написал два

сочинения на премии, объявленные местными учеными обществами. Темой первого было: “Нужно ли ограничивать роскошь граждан небольшого государства, благоденствие которого основано на торговле”, а второго – “Законодательство и детоубийство”. В последнем сочинении (1783 г.) Песталоцци доказывает, что никакие – хотя бы самые суровые – угрозы закона не могут искоренить детоубийства, являющегося результатом социальных условий, и что для борьбы с этим злом необходимо поднятие общего уровня общественной нравственности, повышение ценности жизни человеческой в понятиях населения и распространение сознания того, что истинным виновником детоубийства является обыкновенно не непосредственная совершительница этого преступления, которое может совмещаться с совсем детской наивностью этой несчастной. Подобные идеи, высказываемые в жестокий век, дают нам высокое понятие об уме и нравственном развитии Песталоцци.

Несколько лет спустя после издания “Швейцарского листка” Песталоцци написал продолжение “Липгардта и Гертруды”. Эти новые части книги предназначались уже исключительно для интеллигенции, тогда как первую часть книги Песталоцци любил называть “народной книгой”. В продолжении уже яснее и подробнее выражаются те мысли, которые были положены в основу первой части. Содержание книги остается по-прежнему наивно-идеалистическим. Речь идет о благоденствии деревни после свержения ига Гуммеля. Кроме прежних героев, крестьянки Гертруды и помещика Арнера, появляются еще несколько подобных же личностей не от мира сего. Здесь и священник Эрнст, живущий для ближних и забывающий о себе; и фабрикант, разбогатевший исключительно благодаря своему труду и скромному образу жизни и устраивающий для деревни школу и сберегательную кассу; и необыкновенный учитель из отставных офицеров, ведущий дело согласно воззрениям Песталоцци; и сестра фабриканта, которая приносит огромную пользу деревне тем, что... говорит всем правду. Слава о прекрасной жизни и прекрасных порядках, установившихся в деревне благодаря всем перечисленным деятелям, распространяется так далеко, что в деревеньку приезжает министр учиться, как управлять государством. Дело кончается тем, что, с одной стороны, учреждения нашей деревеньки вводятся повсеместно в том удивительном государстве, где эта деревенька находится, а с другой, – в самой деревеньке население начинает сознательно относиться к порядкам и учреждениям, созданным Арнером и другими, после чего существование этих учреждений делается прочным и не зависящим от наличия нескольких хороших людей...

Еще позднее, когда Песталоцци опять выступил на поприще практической педагогической деятельности (о чем ниже), он написал как бы еще одну часть все той же книги, озаглавив ее: “Как Гертруда учит детей”. Здесь систематизированы взгляды Песталоцци на задачи и способы начального воспитания и обучения.

Кроме упомянутых книг, Песталоцци написал еще множество других сочинений, из которых мы назовем лишь некоторые. В 1797 году он издал: “Фигуры к моей азбуке, или Основы моего мышления”. Это просто собрание басен – числом более двухсот. Около того же времени были напечатаны “Наблюдения над ходом природы в развитии человечества”. Книга эта произвела сильное впечатление на серьезные умы оригинальностью высказываемых мыслей, касающихся философии истории; в массе публики книга, конечно, успеха не имела. Затем должен быть упомянут целый ряд чисто педагогических сочинений Песталоцци, среди которых особенно выделялась “Книга для матерей”, написанная уже в последующий период практической педагогической деятельности. В этот же период Песталоцци составил ряд учебников и руководств для учителей. Среди этих руководств были крайне оригинальные, как, например, “Словарь имен существительных”, “Книга слогов” и “Книга цифр”. О них мы еще упомянем при изложении педагогических взглядов Песталоцци. Наконец, чтобы закончить перечень литературных работ Песталоцци, упомянем еще “Лебединую песнь” и “Судьбы моей жизни”, автобиографические сочинения, написанные уже в последние годы жизни, когда все его начинания погибли и существование его было печальнейшим во всех отношениях.

Период жизни, в течение которого Песталоцци занимался по преимуществу литературным трудом, продолжался около двух десятков лет – до 1798 года. Внешние условия жизни Песталоцци в это время были очень тяжелы. Его постоянно теснила материальная нужда. Нейгофское имение не только не приносило никаких доходов, но не покрывало и процентов по лежавшим на нем долгам. Что касается литературного заработка, то он в те времена и вообще был невелик, а для Песталоцци делался и совсем ничтожным вследствие особенностей его характера и особенностей его литературной деятельности. Те из его произведений, которые имели успех, приносили немалые барыши его издателям, но последние, пользуясь непрактичностью Песталоцци, платили ему чуть ли не гроши. Впрочем, произведений, имевших значительное распространение, у Песталоцци было не так много. Всего чаще его книги не приносили ему никакого дохода. Затруднительность положения

Песталоцци еще более усиливалась благодаря его чрезвычайной щепетильности, побуждавшей его отклонять все попытки друзей помочь ему. Один из друзей предлагал Песталоцци купить у него Нейгофское имение за весьма значительную сумму с тем, чтобы сумма эта была положена в банк и Песталоцци мог жить на проценты с нее; но так как имение далеко не стоило предложенной за него суммы, то Песталоцци отказался от сделки. Некоторые другие друзья, пользовавшиеся влиянием в тогдашнем управлении Швейцарии, предлагали ему какую-нибудь общественную должность, жалование от которой могло бы обеспечивать его и его семью; но Песталоцци, не считая себя способным к исполнению административных обязанностей, отказался и от этого предложения. Единственная должность, которую он был готов принять и о которой даже усиленно просил, – была должность народного учителя. Положение народного учителя в то время в Швейцарии было самым безотрадным: ничтожнейшее содержание, отсутствие общественного уважения и тяжелый труд – таковы были преимущества этого положения. Неудивительно, что друзья Песталоцци смотрели на желание его сделаться народным учителем как на проявление безумия и отказывались содействовать ему в этом. Надо вообще заметить, что характер отношения общества к Песталоцци, сделавшийся после издания “Липгардта и Гертруды” благоприятным для него, вслед за появлением других его произведений снова стал прежним. На Песталоцци начали по-прежнему смотреть как на помешанного или чудака, который, будучи всем недоволен, все критикуя, предлагая планы преобразования общественных отношений, в то же время не способен устроить своих собственных дел, несмотря на то, что обладает недюжинными способностями. Многие относились к Песталоцци весьма благосклонно; личность его действовала настолько обаятельно, что он имел множество друзей, горячо любивших его. Но все эти друзья были согласны в том, что для практической жизни Песталоцци был человеком потеряннным, что он ни к чему решительно не способен, ни на что не годен и что ему нельзя ничем помочь.

Тяжелые лишения этого периода не могли не отразиться на Песталоцци. Он преждевременно постарел, осунулся и в 50 лет выглядел совершенно дряхлым человеком. Лицо его, всегда некрасивое, теперь, будучи покрыто глубокими морщинами, казалось суровым и угрюмым, и нужно было внимательно всмотреться в него, чтобы увидеть, какую доброту веет от этих морщин. Нелюдимый и прежде, застенчивый, неловкий, Песталоцци под влиянием 20-летней жизни голодающего бедняка совсем одичал, сторонился всех и производил на незнакомых

весьма невыгодное впечатление. Но в душе этого угрюмого человека таились сокровища, которые тотчас же засветились и привлекли к нему снова общее внимание – даже в несравненно более широких размерах, нежели ранее, – лишь только представился случай применить эти сокровища к делу. Случай этот явился в 1798 году, когда Песталоцци оказался во главе оригинального педагогического учреждения в Станце.

ГЛАВА IV. ПЕСТАЛОЦЦИ В СТАНЦЕ И В БУРГДОРФЕ

Воспитание сына. – Приют в Станце. – Трудность задачи, взятой на себя Песталоцци, и ее выполнение. – Гибель приюта. – Учительство в Бургдорфе. – Институт Песталоцци в Бургдорфе. – Слава Песталоцци. – Песталоцци-депутат. – Неудовольствие Наполеона I и печальные последствия. – Изгнание из замка и переход в Ивердон

Прежде чем перейти к изложению многолетней педагогической деятельности Песталоцци, заслуженно доставившей ему известность среди современников, мы считаем нужным остановиться несколько на воспитании, какое дал Песталоцци своему единственному сыну. До 13 лет сын Песталоцци жил в Нейгофе, предоставленный влиянию природы и деревенской жизни. Вполне свободный, он проводил свое время так, как ему самому хотелось, предаваясь играм и беганью по окрестностям. Песталоцци никогда не позволял себе ни малейшего принуждения по отношению к сыну, относился к нему совершенно по-товарищески и если требовал от него чего-либо, то объяснял ему причины этого требования и предоставлял ему самому решать, нужно ли его исполнять. Что касается собственно обучения, то сын Песталоцци учился тогда, когда у него самого являлось к тому желание. Лица, которым приходилось видеть эту систему воспитания, приходили в ужас и грозно спрашивали Песталоцци: “Чем все это кончится, что из всего этого выйдет?” Однако не вышло ничего ужасного. Когда мальчику исполнилось 13 лет, он оказался подготовленным к поступлению в институт Пфэффеля в Кольмаре, по выходе из которого оказался прекрасным человеком. К сожалению, он слишком рано умер, оставив на попечение Песталоцци внука.

Эту систему свободы детей, ограничиваемой только их собственным разумением, которое должно быть развиваемо с самого раннего возраста, Песталоцци и положил в основу своих воспитательных приемов; их ему пришлось применять, начиная с 1798 года, весьма широко.

Французская революция, отразившаяся почти на всех европейских странах, вызвала революционное движение и в Швейцарии. Старые порядки были уничтожены, установился новый строй, объединивший кантоны, составлявшие дотоле почти самостоятельные, отдельные

государства, и уничтоживший сословные разделения. Нашлись, однако, кантоны, которые восстали против новых порядков. Французы, занимавшие тогда Швейцарию под предлогом защиты ее от австрийцев, приняли на себя роль усмирителей восставших кантонов и произвели в них целый ряд возмутительных жестокостей. Особенно пострадал в кантоне Унтервальдене город Станц, который был сожжен дотла. Эта возмутительная жестокость возбудила негодование по всей Швейцарии. Повсюду стали собирать средства для помощи несчастным жителям Станца. Швейцарское правительство, в составе которого были в то время и друзья Песталоцци, послало для упрочения порядка в Станце и помощи его жителям знаменитого Генриха Цшоке, а Песталоцци было предложено взять на себя попечение о бесприютных детях, во множестве бродивших среди городских развалин. Само собою разумеется, Песталоцци принял это предложение с величайшей радостью и тотчас же отправился к месту открывавшейся перед ним деятельности, которой он ждал столько лет.

Условия, при которых Песталоцци приходилось возобновлять свою педагогическую деятельность, всего менее благоприятствовали успеху дела. Помещение под детский приют было отведено в соседнем женском монастыре, давно заброшенном. Это был ряд огромных, сырых и холодных комнат, требовавших капитального ремонта, чтобы быть годными для жилья. О ремонте не могло быть и речи, так как нужно было немедленно собрать детей, которые гибли среди развалин от голода и холода (дело было в декабре). Средства, отпущенные в распоряжение Песталоцци, были крайне скудны, и приют постоянно терпел недостаток в самом необходимом. Тот же недостаток средств лишал возможности не только пригласить помощников, но даже нанять прислугу, и Песталоцци приходилось быть не только “директором” приюта, но и выполнять обязанности всех возможных в таком учреждении должностных лиц, вплоть до обязанностей ночного сторожа. Тем не менее, Песталоцци бодро и с радостью принялся за порученное ему дело, возлагая на него громадные надежды. Вот что он писал жене, появившись в Станце (жена его была больна и не могла помогать ему в настоящем случае): “Вопрос о нашей судьбе должен теперь разрешиться. Я берусь за осуществление величайшей мысли нашей эпохи. Если на твоего мужа смотрели так, как следовало смотреть, и то презрение, которое обыкновенно применялось к нему, основательно, то нам нет спасенья. Если же со мной поступали несправедливо, и я таков, каким считаю себя сам, то скоро все поправится... Я не могу выносить твоего недоверия, и потому пиши мне письма, полные надежды. Ты ждала тридцать лет, и подождать еще три

месяца уже не особенно трудно”... В своих воспоминаниях, написанных в последние годы жизни, Песталоцци так оценивал свою попытку в Станце: “Это был решительный, почти безрассудный для меня шаг; зрячий не сделал бы его; но я был, к счастью, слеп. Я не знал определенно, что я делаю, но я знал, что я хочу сделать, а это значило для меня: или умереть, или достигнуть цели... Обрадованный, что наконец мечты всей моей жизни готовы осуществиться, я ни минуты не задумывался о том, что начинаю жизнь на высочайших Альпах, как говорится, без огня и без воды”.

Скоро полуразрушенный монастырь был переполнен детьми, которых набралось больше сотни. Это были несчастнейшие создания: оборванные, грязные, покрытые насекомыми, с кожными болезнями, измученные физически и испорченные нравственно и без всяких следов какого бы то ни было воспитательного влияния. Многие из них были сиротами, другие имели родителей, но последние были едва ли не несчастнее первых. Родители этих детей принадлежали к подонкам городского населения. Детский приют казался им бессмысленной затеей, а на Песталоцци они смотрели как на человека, настолько оказавшегося не способным ни к чему, что его приставили сторожем к их детям. Некоторые из них отдавали детей в приют только для того, чтобы дети получили там новую одежду, после чего спокойно уводили их домой. Другие являлись к Песталоцци и требовали от него платы за отданных ему детей, которые, дескать, бродя по стране, могли бы зарабатывать для родителей кусок хлеба нищенством. Некоторые являлись в приют для того, чтобы поиздеваться над Песталоцци и, не стесняясь его присутствия, подбивали детей требовать от воспитателя лучшей пищи и одежды, на которые “казна дает деньги”. Сами дети доставляли много забот Песталоцци. Не привыкшие ни к какой дисциплине, нечистоплотные, не умеющие беречь одежду, не понимавшие различия между добром и злом, с развитыми дурными инстинктами, они представляли армию, с которой, казалось бы, невозможно было справиться одному человеку. А Песталоцци был один: он был и учителем, и воспитателем, и надзирателем, и экономом, и поваром, и сторожем, и всем чем угодно. Единственными помощниками его были те же собранные отовсюду дети, которых нужно было еще учить и воспитывать.

Что можно было сделать при таких условиях? И, однако, Песталоцци сделал то, что хотел. Через полгода детей из приюта нельзя было узнать: это были чистоплотные, скромные, трудолюбивые ребята, души не чаявшие в своем “отце”. Так же резко изменилось и отношение родителей к Песталоцци: те из них, которые приходили раньше в приют подбивать детей на бунт против Песталоцци, теперь являлись сюда для того, чтобы

поцеловать руку этого великого подвижника.

В чем же была причина этого чуда? Имя этой причины *любовь*: этим-то орудием Песталоцци победил и детей, и их родителей.

В одном из своих писем Песталоцци весьма трогательно описывает процесс перевоспитания собранных в приюте детей и причины своего успеха, и мы приведем выдержку из этого письма:

“Я был один с ними, и хотя, с одной стороны, такое беспомощное положение обходилось мне очень дорого, но, с другой – оно было полезно для моей цели. С утра до ночи дети встречали меня одного в своей среде. Все доброе и для их тела, и для души исходило от меня одного. Я помогал им, я учил их, я говорил с ними; их глаза смотрели в мои, их руки хватались за мою, когда встречалась какая бы то ни было надобность в поддержке. Мои слезы сливались с их слезами, когда они плакали; моя улыбка встречала их смех, когда им было весело. Они были отрешены от мира, даже от Станца. Они были только со мною, и я был с ними. Что они ели, то ел я; что пили они, то и я пил. У меня не было ничего: ни хозяйства, ни слуг, ни друзей, – у меня были только они. Были они здоровы – я находился в их среде; заболел кто-нибудь – я сидел у его кровати. Я спал также с ними; ложился, когда последний из них засыпал, и вставал, когда еще никто не просыпался. Мы молились вместе, а пока они засыпали, мои рассказы или развлекали, или учили их: это было их собственное желание. Я ухаживал за ними, стараясь устранить последствия неопрятности, столь понятной при нищете, и дети скоро приучались ценить все, что я для них делал. Лучшими защитниками, когда меня бранили, были именно эти бедные, заброшенные дети. Они чувствовали как будто всю несправедливость, с которой относились ко мне, и привязывались еще более. Я не знал системы, метода, приемов, кроме тех, которые основывались на любви детей ко мне, и не хотел знать. Я верил в то, что убеждение в моей искренней сердечной любви к ним изменит к лучшему моих детей так же скоро, как изменяет весеннее солнце поверхность почвы, застывшей в холодную, неприветную зиму”.

Помимо горячей любви к детям, у Песталоцци было еще другое средство, при помощи которого он мог делать чудеса в своей области. Средство это – вытекавшее все из той же любви к детям – состояло в уважении личности в ребенке. Песталоцци никогда не приказывал, никогда ничего не требовал от детей; он объяснял им, что нужно и почему нужно, и дети всегда охотно делали то, что было нужно. Такой способ многим кажется неисполнимым, а между тем Песталоцци он вполне удавался и притом при самых неблагоприятных условиях. Причина успеха

Песталоцци крылась в том, что он был воспитатель не по должности, а по призванию. Как действовал Песталоцци среди своих питомцев, наглядно покажет следующий пример. В то время, когда Песталоцци работал в Станце, по соседству, по всему Унтервальдену, шли стычки между французами и австрийцами. После одной из этих стычек французы сожгли село Альтдорф, заподозрив жителей его в оказании помощи австрийцам. Песталоцци, узнав об этой жестокости, прежде всего подумал о детях, которые должны были остаться бесприютными на пожарище. Предоставить этих несчастных детей их собственной судьбе Песталоцци не мог; но как было взять их в приют, когда средств не хватало и для содержания прежде набранных детей? И вот в эту трудную минуту Песталоцци решает обратиться к самим призреваемым детям. Он собрал их вокруг себя и сказал им: “Альтдорф сгорел; может быть, в эту минуту бродит по пожарищу до ста детей без крова, без пищи и одежды. Желаете ли вы попросить наше благодетельное начальство, чтоб оно дало приют им в нашем доме?” Дети закричали: “Желаем! Желаем!” “Но у нас мало средств, – продолжал Песталоцци, – вы принуждены будете ради этих бедняков больше работать, меньше получать пищи и даже платьем своим должны будете поделиться с ними, – желаете ли вы все-таки помочь им в их несчастье?” Ответом служили крики детей: “Пусть все они придут сюда! Мы согласны больше работать и меньше есть”. И действительно, когда явились альтдорфцы, дети из Станца приняли их, как братьев, одели их в свои одежды, поделились с ними своими постелями и заботились о них с важностью взрослых нянек и воспитателей. Такого приема Песталоцци держался всегда в своих отношениях с детьми; всегда он обращался к их разуму, их нравственному достоинству, их чести. Он не считал себя вправе игнорировать человеческую личность только потому, что она заключена в ребенке, и не стеснялся развивать в этих малютках сознание нравственных обязанностей, долга. Когда дети особенно шумно выражали ему свою любовь и благодарность за все его заботы о них, Песталоцци говорил им, что для него высшим выражением их благодарности к нему будет, если они со временем, став взрослыми, сами посвятят себя тому, чтобы жить среди бедных, покинутых детей, воспитывать и учить их. Эти слова Песталоцци производили сильнейшее впечатление на детские души. Не правда ли, как все это мало походит на приемы “современной педагогики”, отцом которой, по какому-то недоразумению, называют Песталоцци?

Третьей основой воспитания в приюте Станца являлся труд. Это не был тот “ручной труд”, которым забавляется “современная педагогика” и который состоит в выскабливании ложечек для соусников и подножек для

часов.

Нет, дети исполняли все работы, необходимые для их существования, – работы, польза и необходимость которых были им очевидны и которые поэтому исполнялись дружно и весело. Они готовили себе пищу, чинили свое платье, рубили дрова, топили печи, носили воду, поддерживали чистоту в доме, по мере сил и возможности ремонтировали комнаты и т. д. Приучаясь к труду, свыкаясь с ним как с необходимым элементом существования, дети вместе с тем приобретали ряд практических навыков, которые должны были избавить их от беспомощного положения в жизни и сделать их полезными членами общества.

Воспитывая в детях нежные чувства любви и благодарности, развивая в них чувство личного достоинства и сознание нравственного долга, приучая их к труду и делая их годными к жизни в обществе, Песталоцци заботился и об их умственном развитии, о снабжении их знаниями и о прохождении ими необходимых ступеней формального образования – грамоты и счисления. Как увидим ниже, Песталоцци как учитель-практик был плох, и результаты его преподавания получались весьма печальными. В данном случае Песталоцци выручали, однако, особенности приютской жизни. При массе учеников разных возрастов, разной подготовки, разнообразного умственного развития, при множестве и разнообразии обязанностей, которые нес Песталоцци, не могло быть и речи о систематическом учении или классном преподавании. Песталоцци должен был ограничиваться, с одной стороны, случайными беседами со всеми ученикам, о том или ином предмете, а с другой, – не менее случайными занятиями с некоторыми наиболее способными учениками. Желая, однако, чтобы и все остальные не оставались без обучения, Песталоцци создал здесь, гораздо ранее Белля и Ланкастера, систему взаимного обучения. Ученики Песталоцци, успевавшие лучше других, немедленно становились его помощниками и обучали тому, что узнали сами, своих отставших товарищей. При этом, наблюдая за приемами обучения, практикуемыми учениками-помощниками, Песталоцци напал на мысль, которая затем сделалась одним из основных положений его педагогической системы: приемы преподавания могут и должны быть упрощены настолько, чтобы самый простой человек мог сам обучать своих детей так, чтобы начальные школы оказались мало-помалу совершенно лишними.^[2]

Так жил Песталоцци с дорогими ему детьми в Станце. Но только успел установиться в приюте определенный порядок, только Песталоцци имел счастье убедиться в том, что его поистине героические усилия начали давать добрые результаты, только приют стал подниматься на ноги, как все

дело Песталоцци было самым грубым образом разрушено внешней силой. Разбитые австрийцами французы двинулись к Станцу, где и расположились, заняв под штаб монастырь, откуда Песталоцци с его детьми был просто выгнан. Он очутился среди поля в разоренной стране в сопровождении более чем ста детей. Не было крова, под которым Песталоцци мог бы приютить своих питомцев; не было пищи, которою он мог бы накормить их. Что было делать? Оставалось одно – распустить этих несчастных на все четыре стороны, чтобы они промышляли каждый для себя. И Песталоцци, так горячо любивший детей вообще, всегда болевший сердцем за них, вынужденных бродяжничать по Швейцарии, и, наконец, так сильно привязавшийся к своим питомцам, должен был покинуть их, пустить их снова бродяжничать и опять возвратиться к привычкам нищенской жизни, от которой он только что избавил их после стольких трудов. Это был уже второй удар такого рода, и он поразил и душу, и тело Песталоцци. Измученный физически, с отчаяньем в душе, Песталоцци едва добрался до Гурнигеля, где у него был один приятель, и здесь пробыл некоторое время в состоянии “онемения”, как выражался он сам. Казалось, и физические, и душевные силы совершенно оставили этот живой труп. Измученное лицо его было просто страшно, а душа, действительно, словно совершенно онемела.

Такое состояние продолжалось, однако, недолго. Воспоминание о днях, проведенных в Станце, понемногу оживляло Песталоцци. Ему казалось, что он заглянул в самую глубину детской души и был на полпути к открытию великой тайны воспитания ее. Неужели же глупая “внешняя” случайность, так грубо оборвавшая его работу, должна навсегда помешать ему докончить начатое им дело, имеющее такое великое значение для человечества? Конечно, этого не должно быть, он должен стать выше губительных обстоятельств и снова продолжить свое дело. И действительно, в самом непродолжительном времени мы видим Песталоцци работающим опять-таки в области воспитания, но уже в новой для него роли – школьного учителя.

Тогдашние политические события делали невозможным обращение к швейцарскому правительству с предложением устроить что-либо подобное детскому приюту в Станце: правительству страны было не до филантропических и педагогических опытов. К тому же, хотя Песталоцци добился в Станце успеха, о котором и мечтать было нельзя, и хотя ему пришлось лишь по необходимости бросить любимое дело, “доброжелатели” Песталоцци ухитрились и на этот раз объяснить ситуацию не в его пользу. “Да, – говорили люди, называвшие себя друзьями

Песталоцци, которые, быть может, были огорчены неудачей своих предсказаний о непригодности его ни к какому делу, – в продолжение пяти месяцев он может изображать собою человека, годного к чему-либо, но уже на шестом наверняка это ему надоест. Наперед можно было знать, что, в сущности, он ничего никогда не окончит. Никогда он не был в состоянии произвести что-либо стоящее внимания”. Неудивительно, что ввиду таких суждений Песталоцци решил не обращаться к своим старым друзьям, входившим тогда в состав центрального швейцарского правительства, а стал искать себе учительского места поблизости от тогдашнего своего местопребывания. Место скоро нашлось в Бургдорфе, и Песталоцци немедленно перебрался туда.

Должность, которую получил Песталоцци, была должностью помощника учителя в школе грамотности (так называемая *Lehrgottenschule*, в которой учились дети от 4 до 8 лет исключительно чтению и письму). Учителем, которому подчинялся Песталоцци, был малограмотный человек, главное занятие которого состояло в шитье башмаков и для которого учительство являлось только побочным делом. Башмачник, гордый своим умением шить башмаки, был очень недоволен попытками Песталоцци вести обучение детей по новому методу, резко отличавшемуся от метода его, башмачника. Вместе с тем башмачник не мог не чувствовать превосходства Песталоцци и стал опасаться, как бы последний не занял его места. Чтобы избавиться от неудобного помощника, башмачник стал распускать слух среди родителей учеников, что новый помощник – человек безграмотный, не умеет учить ни писать, ни считать, да еще ко всему этому и безбожник, так как находит, что обучение 5-летних детей катехизису преждевременно. “Ты видишь, друг мой, – писал по этому поводу Песталоцци одному из друзей, – в уличных толках не все бывает ложно: действительно, я не могу похвалиться красивым почерком, выразительным чтением и навыком в счислении; но все-таки из этих толков вывели обо мне слишком уж дурное заключение”. Как бы то ни было, училищное начальство, вняв жалобам учителя-башмачника и родителей учеников, перевело Песталоцци в другую школу Бургдорфа, под начальство некоей девицы Стэли.

На новом месте Песталоцци пробыл менее года. Здесь он мог применять свои приемы обучения без стеснения, так как девица Стэли совсем не вмешивалась в занятия своего помощника. Успех, достигнутый Песталоцци, был громадным. Он действительно упростил до крайности приемы преподавания. Когда родители учеников посещали уроки Песталоцци, они бывали поражены простотою приемов Песталоцци и в

недоумении рассуждали: “Да чему тут учиться! Этому мы и сами могли бы научить своих детей!” Бедняки и не подозревали, что эти укоры, которые они без церемонии высказывали Песталоцци в лицо, радовали его выше всякой похвалы. Надо заметить, что Песталоцци тогда еще не впал в те крайности, которыми отличалось его преподавание позднее в Бургдорфском институте (о чем будет речь ниже), и что он не приносил заботу об усвоении учениками сообщаемых им сведений в жертву поспешности, с которой сообщались эти сведения, и притом сообщал ученикам те или другие сведения ради их собственной ценности, а не ради их мнимо “развивающего” значения, как это имело место впоследствии. Наконец, важным обстоятельством являлось то, что Песталоцци избавил своих учеников от тяготевшего над ними ранее школьного режима, основанного на грубости, неуважении детской личности и принудительном заучивании такого учебного материала, который стоял выше их понимания. Неудивительно, что такая, для тогдашнего времени совершенно новая, постановка школьного дела, вызывая оппозицию невежества, вместе с тем привлекала общее внимание людей просвещенных. Особенно много шума наделал отзыв о преподавании Песталоцци профессора Гербарта, который, посетив школу Песталоцци, пришел в восторг от ее особенностей, совсем не встречавшихся в школах того времени, – активности учеников и полного внимания их к ходу обучения. Скоро о школе Песталоцци заговорили так сильно, что швейцарское правительство сочло нужным снарядить особую комиссию, которая должна была произвести публичный экзамен ученикам Песталоцци и дать отзыв о результатах восьмимесячных занятий. Отзыв комиссии был самым благоприятным для него. Комиссия в свидетельстве, выданном Песталоцци, между прочим, писала: “Насколько мы можем судить, вы исполнили все, что обещали, когда говорили о применении вашего метода. Вы показали, какие силы таятся в человеке даже в период самого нежного возраста, и наметили тот путь, которым должно идти развитие этих сил. Удивительный успех ваших учеников, достигнутый при самых разнообразных способностях каждого из них, ясно убеждает, что из всякого ребенка может быть что-нибудь сделано, если учитель сумеет понять особенности его умственных способностей и психологически верно примется за их развитие”.

Этот отзыв комиссии побудил правительство предложить Песталоцци более широкое поприще. Именно ему было предложено взять на себя устройство в Бургдорфе учительской семинарии для подготовки народных учителей. Эта идея о создании особого института для подготовки контингента лиц, которые были бы достаточно образованы и заменили

собою господ, вроде вышеупомянутого башмачника, дотоле подвизавшихся в народных школах, – являлась следствием проповеди Песталоцци о необходимости широкой постановки дела народного образования. Однако самая идея о создании класса особых “специалистов” по начальному образованию была совсем не по душе Песталоцци, заветным желанием которого было, чтобы начальных школ совсем не существовало и начальное образование составляло всецело достояние семьи. Неудивительно, что Песталоцци отказался от устройства учительской семинарии, которая так и не была открыта. Вместе с тем, однако, у Песталоцци явилась мысль создать такое учебно-воспитательное заведение, в котором применялись бы к делу в полном объеме его педагогические воззрения и которое давало бы возможность всем желающим на практике ознакомиться с этими воззрениями. Обстоятельства сложились таким образом, что появилась возможность осуществить эту мысль. Бедствия военного времени, которым подвергалась Швейцария в течение нескольких лет, имели одним из своих последствий образование значительного контингента сирот, потерявших своих родителей во время войны. Население Бургдорфа, которого не коснулись бедствия войны, решило взять на общественное попечение некоторое количество сирот из горных кантонов, разоренных французами. Был открыт сиротский приют сперва на 30 детей. Для заведования приютом был приглашен некто Крюзи. Последний познакомился с Песталоцци, пришел в восторг от его приемов преподавания и, когда число детей в приюте возросло втрое против первоначального, начал убеждать Песталоцци принять на себя заведование приютом. Песталоцци согласился на это, и они вдвоем стали усиленно работать в приюте. Результаты получились блестящие. Вскоре приют был проверен правительственной комиссией, на обязанности которой лежало попечение об усилении народного образования в Швейцарии. Комиссия эта в своем отчете правительству описала: “Прежде всего мы заметили, что ученики Песталоцци удивительно скоро выучиваются читать, писать и считать. До какой степени доведены они здесь в полгода, до такой обыкновенному сельскому учителю не довести их в три года. Тайна успеха заключается в том, что тут стараются только помочь природе, и она является настоящею учительницей. При этом способе учитель как бы скрывается за ученьем, а это тоже немалое преимущество. Учитель не является ученикам чем-то высшим, как это обыкновенно бывает, – он минуту за минутой переживает с детьми, и со стороны кажется, что не он их учит, а сам с ними учится. Система так целесообразна и дает такие превосходные результаты, что введение ее было бы желательно для всей Швейцарии”.

В это время вопрос о народном образовании был жгучим вопросом для страны. Передовые люди, уничтожившие средневековые порядки, царившие дотопе в Швейцарии, были потрясены, когда невежественное население горных кантонов стало на защиту этих самых порядков, от которых именно ему же и приходилось больше всего страдать и уничтожение которых и было предпринято для его пользы. Здесь воочию предстала перед всеми опасность оставить народные массы в состоянии невежества. Появился общий интерес к делу народного образования. Книги Песталоцци, в которых он выяснял важность и необходимость народного образования, сделались популярными и стали настольными книгами у тогдашних швейцарских деятелей. Сам Песталоцци снова и в гораздо большей степени, чем прежде, приковал к себе общее внимание. При таких условиях осуществление мысли Песталоцци об устройстве образцового учебно-воспитательного заведения встретило общую поддержку. Правительство уступило под него Бургдорфский замок; образованная молодежь наперерыв предлагала Песталоцци свои услуги в качестве помощников; отовсюду являлись ученики, прием которых приходилось ограничивать за недостатком помещения.

Бургдорфский замок с его живописными окрестностями представлял собою в высшей степени подходящее место для такого благородного учреждения, каким был институт Песталоцци.^[3] Просторные помещения, чистый воздух, масса зелени – все это благоприятствовало сохранению здоровья учащихся. Во главе заведения стоял такой воспитатель, как Песталоцци, а помощниками его стали вышеупомянутый Крюзи и еще двое молодых людей, которых Песталоцци выбрал из множества являвшихся к нему претендентов. Учащимися явились, с одной стороны, дети зажиточных семей, поступавшие в институт за плату, а с другой, – бедные сироты, которых Песталоцци набрал столько, сколько позволяли средства.

Бургдорфский институт был открыт в 1800 году. Слава о новом заведении, в котором применялась совершенно особая система воспитания и обучения, быстро распространилась по Швейцарии и соседним странам. Первые посетители, явившиеся в заведение, дали самые восторженные отзывы о нем. Достаточно будет привести отзыв Виланда, который писал: “Среди тревожных волнений великий человек, непризнанный и покинутый всеми, успел наконец осуществить дело, которому он отдал всю свою жизнь, пожертвовал всеми своими силами. В этом создании гениального ума и благородного человека вера во всеобщее облагораживание человечества получает прочную основу. Этот человек – Песталоцци. Его система пригодна для всех времен и народов. Она проста и

последовательна, как природа, и при помощи ее возможно образование не ученых, а людей, к чему именно и должно стремиться, чего и хотели добиться”.

После таких отзывов в Бургдорфский замок стали стекаться посетители из всех стран Европы и даже из Америки. Теперь это паломничество для нас не особенно понятно, но для того времени оно было вполне естественным. Мы знаем теперь, как медленно в количественном отношении распространяется народное образование; тогда же эта сторона дела никому не казалась важною, а занимал всех совершенно иной вопрос. “Как воспитать народ, как облагородить его” и возможно ли дать образование детям народа, доступно ли им окажется образование – вот какие странные для нашего времени вопросы стояли тогда на первом плане. А раз эти вопросы благополучно решались, казалось совсем уж нетрудным сделать блага образования достоянием всего народа, для чего нужно было только основать потребное число школ, что казалось делом совсем легким. Вот почему заведение Песталоцци, где заброшенные сироты из народа оказывались столь же благородным материалом для воспитательного влияния, как и дети зажиточных семей, привлекало общее внимание, а приемы воспитания и обучения Песталоцци казались поистине чудесным решением великого вопроса. Неудивительно, что к Песталоцци ехали учиться великому делу, последствия которого должны были быть громадны. Сам Песталоцци придавал большое значение посещениям его института, именно с той точки зрения, что каждый такой посетитель сделается пропагандистом идеи народного образования в своей стране, и потому старался, чтобы все гости были самым тщательным образом ознакомлены с делом. Ниже, в следующей главе, мы будем еще говорить об этих посещениях “знатных иностранцев” и о значении их. Теперь же упомянем только, что последствием посещения института в 1802 году двумя членами швейцарского правительства было зачисление института в число государственных учреждений. В отчете этих сановников особенно налегало именно на то, что Песталоцци решил вопрос о народном образовании, создав метод, который “годится для всех, к какому бы классу общества учащийся ни принадлежал, и является незаменимым, как первое основание для общечеловеческого развития”.

Желая, чтобы с этим методом могли ознакомиться не только те, кто посетит институт, но и все желающие, Песталоцци написал в этот период жизни несколько книг, в которых изложил свои педагогические воззрения. Оставляя ознакомление с этими воззрениями до последней главы нашего очерка, заметим здесь, что в упомянутых книгах (“Как Гертруда учит детей

– попытка дать указания матерям, как им следует учить своих детей”, “Книга для матерей”, “Естественный школьный учитель”), полных глубоких, оригинальных и новых для своего времени мыслей, обнаруживаются поразительная непоследовательность и влияние промахов в школьной практике, к которой Песталоцци был весьма мало пригоден.

Время существования Бургдорфского института – едва ли не лучший период жизни Песталоцци, если иметь в виду его личное счастье. В Бургдорфском замке Песталоцци был глубоко счастлив. В институте царил истинно семейная жизнь. Как и в Станце, Песталоцци проводил все время с детьми. Он вместе с ними вставал, умывался, стоял на молитве, сидел в классе, обедал, играл в детские игры и т. д. Примеру Песталоцци следовали и его помощники. Последние были всецело проникнуты идеями великого педагога и питали к нему восторженное уважение. Подбор помощников оказался удачным и в том отношении, что они жили весьма дружно друг с другом. Об учениках и говорить нечего: они питали к Песталоцци горячую любовь, как любили его дети всегда и везде. Трудно сказать, многое ли выносили посетители Бургдорфского института в смысле ознакомления с идеями Песталоцци и с его системой преподавания, но все они, смотря на сложившиеся взаимоотношения обитателей Бургдорфского замка, приходили к убеждению, что “у любви есть божественная сила” и что воспитание, основанное на взаимной любви воспитателя и воспитанников, поистине творит чудеса. Неудивительно, что популярность Песталоцци достигла в это время чрезвычайно широких размеров, и швейцарцы смотрели на него как на гордость своей страны.

Эта популярность Песталоцци скоро отразилась на Бургдорфском институте, и притом самым печальным образом. Швейцарию в это время раздирали борьба партий – централистов, стремившихся уничтожить самостоятельность отдельных кантонов и организовать управление страной по образцу централизованной Франции, и федералистов, имевших целью сохранить прежнюю самостоятельность кантонов, союз которых, федерация, и должен был составлять Швейцарию. Верх одерживала то та, то другая партия. Наполеон, тогда первый французский консул, которому надоели эти беспрерывные волнения в маленькой “Гельветической республике”, находившейся под его протекторатом, ввел 40-тысячную армию в Швейцарию “для поддержания порядка” и потребовал присылки в Париж уполномоченных от швейцарского населения для того, чтобы покончить с вопросом о внутреннем устройстве Швейцарии. В число этих уполномоченных благодаря своей популярности попал и Песталоцци, избранный сразу двумя кантонами – Цюрихским и Бернским.

Для Наполеона этот вызов депутатов Швейцарии в Париж был просто политической комедией, так как он решил навязать швейцарцам то устройство, которое было наиболее выгодно для его собственных целей. Большинство же швейцарцев, еще не разочаровавшихся тогда в “первом консуле” и не предвидевших в нем будущего деспота, вообразило, что на этот раз Швейцария получит устройство, соответствующее желаниям населения страны. Из всех депутатов особенно пылким надеждам предавался Песталоцци, по обыкновению увлекшийся своими собственными фантазиями, принимая их за действительность. Перед отъездом в Париж Песталоцци напечатал брошюру под заглавием: “Взгляды на предметы, которые главным образом должно иметь в виду законодательство Гельветии”. В брошюре этой проводится мысль, что без широкого развития дела народного образования никакое государственное устройство не может служить основой благоденствия страны, следовательно, прежде всего и главнее всего надо позаботиться о правильной постановке народного образования, которое должно быть доступно всем детям; затем в брошюре рисуются необходимые реформы в области суда, полиции, организации военной защиты страны и финансов. По приезде в Париж Песталоцци немедля пришлось разочароваться в своих надеждах. Трудно представить себе более резкий контраст, нежели тот, который представляли Наполеон и Песталоцци, из которых один олицетворяет принцип – “всё для себя за счет других”, а другой – прямо противоположный: “всё для других – ничего для себя”. Неудивительно, что Наполеон оказался не в состоянии даже понять Песталоцци. На записку, представленную Песталоцци и посвященную выяснению необходимости широкой организации дела народного образования, Наполеон ответил, что это не его забота, что он букварями не занимается. Вместе с тем Наполеон не мог допустить, чтобы такой умный человек, как Песталоцци – выдающегося ума последнего не мог не заметить и Наполеон, – мог искренно увлекаться такой глупостью, как народное образование, и у гениального завоевателя сложилось удивительное по нелепости убеждение, что Песталоцци представляет собою что-то вроде иезуита (“Песталоцци и иезуит – одно и то же”, – высказался однажды Наполеон) и что он желает просто овладеть умами подрастающего поколения ради политических целей. При таком удивительном взгляде на Песталоцци Наполеон отнесся к нему крайне враждебно, чему способствовала, конечно, также и нелюбовь Наполеона к “идеологам” всякого рода, в которых он весьма основательно видел наиболее опасных врагов своим замыслам.

Враждебное отношение Наполеона к Песталоцци немедленно

отразилось на положении его института. Тогдашнее швейцарское правительство, состоявшее из ставленников Наполеона, желая угодить своему патрону, немедленно арестовало Песталоцци, как только он возвратился в Швейцарию. Этот беспричинный и бессмысленный арест не понравился даже Наполеону, и Песталоцци был освобожден. Зато швейцарское правительство решило обрушиться на Бургдорфский институт. Была произведена ревизия института лицом, образование которого велось под руководством фехтмейстера и танцмейстера и которое ограничило свою ревизию внушительным выговором Песталоцци за ненадлежащее ведение дела, о котором ревизор не имел ни малейшего понятия. После этой ревизии у института была отнята государственная субсидия, а затем Песталоцци предложили очистить Бургдорфский замок и убираться с своими питомцами куда угодно.

Таким образом, дело Песталоцци снова обрывала грубая сила. Но теперь положение его было совсем иным, нежели после изгнания из Станца. Вся Швейцария пришла в негодование от преследований, которым подвергался великий педагог. Город Бургдорф возбудил, хотя и безуспешно, ходатайство о том, чтобы оставить институт Песталоцци в Бургдорфском замке. Множество других городов прислало к Песталоцци делегации, звавшие его к себе, обещая отвести помещение для института в общественных зданиях. Песталоцци выбрал город Ивердон на берегу Невшательского озера, где под институт был отведен еще более просторный замок, нежели Бургдорфский.

ГЛАВА V. ПЕСТАЛОЦЦИ – ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПЕДАГОГ

Институт в Ивердоне. – Его слава. – Внешняя, показная сторона. – Влияние института. – Школьная реформа в Пруссии. – Внутренние порядки института. – Раздоры. – Училище в Клинди. – Оставление Ивердона. – Последние годы и смерть

Институт в Ивердоне существовал с 1805 по 1825 год. Заведение это приобрело всемирную известность. Но главная слава его относится к периоду с 1805 по 1815 год. После этого периода началось медленное разложение учреждения, которое наконец умерло естественной смертью. В период своей славы институт располагал значительным количеством глубоко преданных делу преподавателей. Что касается учеников, то их было больше двухсот, и они явились в институт из всех стран Европы, и даже из Америки. Кроме учеников, в институте жило всегда по несколько десятков лиц, изучавших метод Песталоцци. Шумная жизнь института дополнялась непрерывными посещениями любопытствующих. Таких посетителей было ежегодно несколько сотен. Среди них было много знаменитостей всякого рода. Тут были и ученые, вроде Карла Риттера, и политические деятели, вроде Талейрана, и представители самой высшей аристократии, вроде князя Эстергази, и, наконец, коронованные лица, такие, как король голландский Людовик, король прусский Фридрих-Вильгельм III и русский император Александр I. Это был единственный пример в истории, когда на свидание с человеком, все заслуги которого ограничивались областью педагогики, спешили короли и цари. Таково было обаяние личности Песталоцци, и таков был общий интерес, привлеченный им к делу народного образования. Эти высокие посетители внимательно слушали восторженного идеалиста и, чем могли, выражали ему свое сочувствие. Для нас, русских, особенно интересно внимательное отношение к Песталоцци императора Александра I. Относившийся сочувственно ко всем попыткам улучшения положения низших классов, весьма интересовавшийся идеями Роберта Оуэна, Александр I не мог не сочувствовать Песталоцци, не мог не интересоваться его благородными стремлениями.

И, действительно, мы видим, что Александр I посетил Ивердонский

институт, долго беседовал с Песталоцци, впоследствии пригласил одного из лучших помощников Песталоцци, Рамзауера, учителем к князьям Александру и Петру Ольденбургским и оказал Песталоцци крупную материальную поддержку, выделив 5 тысяч рублей на издание его сочинений.

Сам Песталоцци придавал огромное значение посещениям института разными лицами, особенно если эти посетители занимали видное положение на своей родине. Песталоцци был уверен, что каждый побывавший в институте уйдет горячим сторонником его идей и проводником их в своей стране. Поэтому-то Песталоцци особенно заботился, чтобы посетители выносили приятные впечатления из института. Всякий раз, когда являлся посетитель, особенно если это был человек с именем, Песталоцци обходил учителей и просил их не ударить в грязь лицом: “Это очень важная особа, – говорил Песталоцци, – этот господин хочет познакомиться со всем механизмом нашего заведения. Покажите ему всё, до чего мы дошли; возьмите лучших учеников, соберите тетрадки и выкажите всё в самом лучшем свете”. Когда приезжал какой-нибудь магнат, вроде вышеупомянутого князя Эстергази, Песталоцци еще более хлопотал, говоря своим помощникам: “У него несколько тысяч крестьян, и он, наверное, заведет для них школы, если мы заинтересуем его своим делом”. Когда Эстергази посетил класс упоминавшегося выше Рамзауера, Песталоцци счел нужным обратить на него внимание магната: “Вот учитель, который 15 лет назад поступил прямо из деревни в мою школу. Теперь он – сам учитель, и учитель выдающийся. Как видите, и в бедных людях кроются такие же способности, как и в богатых. Только у бедных эти способности глохнут без развития. Вот почему необходимо дать и бедным людям возможность получать образование”. Развивая далее эту тему, Песталоцци по своему обыкновению быстро жестикулировал и при этом так ударил локтем о ключ, торчавший в дверях, что ключ согнулся. Песталоцци, увлеченный желанием убедить Эстергази в своих идеях, ничего не замечал и продолжал свои объяснения. Когда Эстергази уехал, Песталоцци в восторге повторял: “Он совершенно убежден, совершенно, вот увидите, что он заведет школы в своих венгерских поместьях”. И только тут Песталоцци заметил, что его рука совершенно онемела и до того опухла, что он не может двигать ею. А между тем Песталоцци в это время было уже 70 лет...

Еще больше горячности проявлял Песталоцци при посещениях коронованных особ. В 1815 году прусский король прибыл в Невшатель и пригласил к себе Песталоцци. Последний в это время был болен. Тем не

менее, он настоял, чтоб его везли к королю, говоря, что он должен поблагодарить прусского монарха за заботы о народном образовании в своей стране и за присылку многих учеников в Ивердон. Дорогою Песталоцци несколько раз впадал в беспамятство, и спутник вынимал его из кареты, вносил в какой-нибудь дом и, когда он приходил в себя, убеждал его вернуться.

– Не говори мне об этом, – отвечал Песталоцци, – я должен видеть короля, хотя бы это стоило мне жизни; если вследствие моего свидания с королем хотя одно дитя получит лучшее воспитание, я буду считать себя щедро вознагражденным.

И надо сказать, надежды Песталоцци на распространение народного образования путем воздействия его идей на сильных мира сего не были фантазиями. Не говоря уже о том, что многие из побывавших в Бургдорфском и Ивердонском институтах делались искренно или вследствие моды распространителями идей Песталоцци, последний имел счастье еще при своей жизни видеть реальные следы своего влияния. Наиболее крупный пример в этом отношении представила Пруссия. Здесь уже в самом начале XIX столетия идеи Песталоцци были разделяемы наиболее крупными государственными людьми. В 1802 году Пруссия послала к Песталоцци особое лицо для ознакомления с методами, практикуемыми в Бургдорфском замке. По возвращении этого лица немедленно началось реформирование народного образования в Пруссии. Погромы 1806 и 1807 годов, уменьшившие Пруссию наполовину, еще больше убедили прусское правительство в опасности для государства оставлять народ невежественным. Король прусский объявил в прокламации к своим оставшимся подданным, что после того, как “внешний блеск и внешнее могущество Пруссии потерялись”, он все силы употребит на то, чтобы поднять “внутренний блеск и внутреннее могущество” народа, для чего он “обратит самое серьезное внимание на народное образование”. И действительно, с этого времени принимается ряд мер, долженствовавших сделать образование доступным всем и каждому. При этом во главе школьного управления был поставлен Николовиус – горячий приверженец идей Песталоцци. Знаменитый государственный деятель Пруссии, Штейн, которому Пруссия обязана своим возрождением, также вполне разделял взгляды Песталоцци на значение народного образования. Наконец, королева Луиза была горячей поклонницей Песталоцци, а его “Липгардт и Гертруда” была настольной книгой королевы. Неудивительно, что мнения Песталоцци в области воспитания ценились в Пруссии весьма высоко, и дело народного образования здесь быстро развивалось.

“Убежденный в величайшем достоинстве выработанного вами метода обучения, – писал в 1808 году барон Штейн Песталоцци, – я решился построить на нем все предполагаемое преобразование начальных школ, в полной уверенности, что из этого произойдут для народа самые благодетельные последствия”. С 1809 по 1812 год в Ивердоне жили трое прусских педагогов, которые знакомились с методом Песталоцци и затем должны были ознакомить с ними прусских народных учителей. Позднее в Ивердон было послано еще несколько учителей, а затем в ряде прусских городов были устроены учительские семинарии, подготавливавшие народных учителей для преподавания по методу Песталоцци. Таким образом, Песталоцци и его идеи сыграли видную роль в деле широкого распространения народного образования в Пруссии и вообще в Германии.

Но не на одну Пруссию оказал Песталоцци столь благоприятное влияние. Люди всех стран, посещавшие Ивердон и беседовавшие с Песталоцци, в большей или меньшей степени делались пропагандистами идеи великого значения народного образования и взглядов великого учителя на воспитание и обучение. И так как среди этих посетителей Ивердона было много сильных мира сего, а также людей науки, то принятие ими идей Песталоцци не могло не содействовать широкому распространению этих идей во всех цивилизованных странах и естественно привело к повсеместному усилению и более правильной постановке дела народного образования. Огромная разница между постановкой народного образования в Европе в конце XIX столетия, когда здесь все дети школьного возраста посещают школы, и в начале этого же столетия, когда народные школы там представляли собою крайнюю редкость, – в значительной мере создана влиянием Песталоцци и его Ивердонского института.

Неудивительно, что, придавая указанное громадное значение посещениям Ивердонского института разными влиятельными лицами и видя на практике значительные последствия от этих посещений, Песталоцци особенно заботился о возможно более благоприятном впечатлении, производимом институтом на посетителей. Так как посетители являлись ежедневно, то Песталоцци большую часть своего времени должен был уделять им. Вместе с тем институт постоянно жил в положении учреждения, которое готовится к ревизии и подвергается ей. В институте все направлялось не к тем главным целям, для которых он был создан, а единственно к тому, чтобы не ударить в грязь лицом перед публикой. Внутренняя жизнь должна была уступить место внешней, показной.

И действительно, с внешней стороны институт производил блестящее впечатление. Даже вид местности, в которой помещался Ивердонский замок, производил на посетителей самое отрадное впечатление, предрасполагавшее к хорошему отношению к институту. Голубые волны Нейнбургского озера, у которого стоял замок, зеленый луг перед замком, веселые поселения на другой стороне озера и высокие липы на задней стороне ландшафта – все это производило поистине чарующее впечатление. От жителей замка также веяло радостью, весельем. Великий воспитатель Песталоцци умел распространять вокруг себя столько любви, что ею проникались все окружающие. Отношения учителей с учащимися были самые душевные. Детям было предоставлено много свободы, и они были избавлены от известных стеснений. Детские игры на воздухе практиковались в самых широких размерах. Всё теплое время ежедневно купались в озере. По субботам предпринимались экскурсии на ближайшие высоты, откуда открывался вид на Монблан и всю цепь Альп, на Женевское озеро, Невшатель, Муртен; по воскресеньям прогулки были еще дальше. Физическое воспитание в институте было поставлено идеально. Дети все делали для себя сами. Они вставали с рассветом, умывались круглый год на дворе холодной водой, ложились спать рано. Пища их была самой простой, но здоровой; спальная и классная обстановка были лишены всякой роскоши. Неудивительно, что учащиеся выглядели краснощекими, здоровыми и производили самое приятное впечатление на посетителей. Не менее отрадное впечатление выносил посетитель и из классов. Не говоря обо всем другом, сами учащиеся употребляли все *усилия*, чтобы это впечатление посетителей было благоприятным. Песталоцци, без всяких стараний со своей стороны, умел побудить всех окружающих – учителей и учеников – не ронять честь заведения. Кроме того, идеально откровенный, он не скрывал ни от преподавателей, ни от учащихся того громадного значения, которое он придавал посещениям института разными лицами, и этим побуждал весь состав института заботиться о производстве хорошего впечатления на посетителей. Таким образом, все – учителя и ученики – старались отличиться перед посетителями, и последние удалялись в полном восхищении.

Иное впечатление производило положение вещей в институте на тех, кто приезжал туда серьезно поучиться делу и подолгу жил в нем. И хотя подобные лица уезжали, унося глубокое уважение к личности Песталоцци и проникнутые его общими взглядами, но над самим институтом они произносили строгий приговор.

Главным воспитательным недостатком в жизни института было

отсутствие чувства семейственности, о которой так много говорится в сочинениях Песталоцци. В институте царил суровый, чисто казарменный режим. Все обитатели этого заведения, несмотря на различие их положений, возраста, развития, вкусов, были подведены под одну мерку. Даже учителя должны были жить той же однообразной жизнью, которой жили все ученики. Учителя ели, спали, гуляли вместе с учениками. Из всех живущих в замке один Песталоцци занимал со своей семьей отдельную комнату, и притом только одну.

Остальные должны были проводить все свое время в общих спальнях, столовых, классах. Как тяжел был этот режим для учителей, видно из того, что многие из них делали себе шалаши в окрестностях замка, чтобы хоть там иногда чувствовать себя как дома. Позднее учителя, несмотря на оппозицию Песталоцци, добились права один день в неделю проводить в гостинице соседнего города, где они чувствовали себя все-таки лучше, чем в институте. Еще бесприютнее было положение учащихся. Огромное число их мешало созданию тесной, семейной жизни, тем более, что воздействие связующего элемента – любви – чувствовалось слабо. Сам Песталоцци, как и всегда, внушал к себе глубокую привязанность, но он был слишком занят, чтобы отделиться всецело ученикам и объединить их в одну семью. Помощники его, утомленные обилием и однообразием обязанностей, неизбежно относились к делу формально. В результате вместо семейной жизни, о которой говорили отчеты института, создалась чисто казарменная жизнь.

Еще печальнее была ситуация с обучением. В программе института значилось много наук, но в действительности преподавались какие-то обрывки, не имевшие никакого значения. Большинство учителей института состояло из людей, не получивших солидной научной подготовки; часть их была из прежних Бургдорфских учеников самого Песталоцци, у которого они меньше всего могли научиться чему-либо. Обремененные обязанностями, они не имели ни времени, ни даже места пополнить свое образование хотя бы чтением. К тому же постоянная необходимость “парадирования” учеников перед посетителями лишала всякой возможности систематического обучения их каким бы то ни было наукам. В результате учащиеся, в сущности, не учились ничему.

Сам Песталоцци, по-видимому, не замечал всего этого и видел, подобно посетителям, одну только внешнюю сторону дела. Он был всецело погружен в заботы о распространении своих идей и общие заботы об институте. Беседы с посетителями, обширная переписка, работа над сочинениями, передача своего метода новым учителям, “внешний обзор”

института, счета и отчеты – все это отнимало время у Песталоцци, несмотря на то, что он отдавался занятиям по 20 часов в сутки. Он ложился спать последним в 10 часов вечера, а просыпался уже в 2 часа ночи. В это время он диктовал свои сочинения любимому своему ученику, ставшему учителем в институте, Рамзауеру. В 4 часа начиналась жизнь в институте, просыпались воспитанники, и Песталоцци спешил в общий зал, чтобы принять участие в общей молитве. Затем целый день уходил на внешнее попечение об институте и на беседы с посетителями и лицами, жившими в заведении для изучения метода Песталоцци. Собственно же внутренняя жизнь института была предоставлена почти исключительно ведению помощников Песталоцци.

Большинство этих помощников состояло из идеалистов, горячо любивших Песталоцци и веривших в великое дело, которому он служил. Но были и такие, для которых пребывание в институте служило только для того, чтобы вылезти в люди. Между помощниками этого второго рода особенно выделялся Шмидт, человек крайне практичный, которому Песталоцци доверил введение денежных дел института. Песталоцци взял его сиротой в свою Бургдорфскую школу, сделал для него все, что мог бы сделать для родного сына, – и Шмидт отплатил ему за это самой черной неблагодарностью. Шмидт был превосходным кассиром, бухгалтером и экономом, – и именно ему в значительной мере Ивердонский институт обязан процветанием в материальном отношении в первой половине своего существования. Но он обладал исключительно мелочным самолюбием и хотел безраздельно господствовать в институте. Так как среди учителей были люди, более достойные и пользовавшиеся большим доверием Песталоцци, то Шмидт задумал устроиться наособицу. Он сблизился с начальницей женского института, открытого в самом Ивердоне и также находившегося в ведении Песталоцци, женился на ней и покинул своего учителя. Первой заботой Шмидта в новом положении было напечатать гнусный пасквиль на Песталоцци и его заведение. Затем он начал и упорно продолжал в течение 7 лет денежный процесс от имени своей жены против Песталоцци. Процесс этот был всецело основан на ошибках в расчетах между двумя учебными заведениями, допущенных самим же Шмидтом во время заведования бухгалтерией института Песталоцци. Несмотря на такое поведение Шмидта, Песталоцци так любил его, что всячески старался примириться с ним. Примирение состоялось только через 7 лет, и Шмидт снова возвратился в институт, где пробыл, однако, недолго. За короткий срок своего второго пребывания в Ивердоне он успел вытеснить из него лучших учителей, а затем, окончательно запутав материальные дела

института, снова покинул его.

Ивердонский институт процветал, по крайней мере, с внешней стороны, до 1815 года. Хотя приметы внутреннего разложения можно было увидеть гораздо раньше. С 1815 года начинается и внешний упадок заведения. Число учеников сильно уменьшилось. Многочисленные пожертвования, поступавшие отовсюду для поддержки этого учреждения, исчезли. Песталоцци жертвовал всем чем мог для института – отдал на его содержание всю значительную сумму, полученную от подписки на издание его сочинений, – но ничто не могло остановить гибели заведения. Сам Песталоцци еще и ускорил эту гибель благодаря своей доброте. Его постоянно занимала забота о несчастных сиротах. И вот в 1818 году, когда материальные дела Песталоцци и его института были и без того запутаны до крайности, он основывает по соседству с Ивердоном, в Клинди, заведение “для воспитания бедных, которые со временем сами могли бы воспитывать и учить бедных”. Шесть лет Песталоцци тратил свои последние средства на содержание этого заведения, но в 1824 году вынужден был опубликовать, что “находит себя в совершенной невозможности ответить ожиданиям и надеждам всех друзей человечества, принимавших сердечное участие в его училище для бедных”. В следующем, 1825, году должен был закрыться и Ивердонский институт за полным отсутствием средств для его содержания.

Песталоцци, которому было в это время 79 лет, был совершенно убит гибелью учреждения, которому он отдал целые 20 лет своей жизни. “Мне так тяжело, – писал он, – как будто я расстаюсь с жизнью”. Но – удивительное дело! – в этом восьмидесятилетнем старце, здоровье которого всегда было слабым, таилось еще столько силы, что он быстро оправился и в последние два года своей жизни, проведенные в своем Нейгофе, где он, потеряв ранее жену и сына, имел единственного близкого человека – внука, – проявлял такую же кипучую деятельность, какой отличался всю свою жизнь. Здесь он написал автобиографические записки, озаглавленные “Судьбы моей жизни”, и книгу “Лебединая песнь”, в которой рядом с биографическими данными изложены и важнейшие педагогические воззрения. В то же время мы видим его принимающим деятельное участие в Гельветическом обществе, председателем которого он был избран в 1825 году, сразу же после закрытия Ивердонского института. В 1826 году он читал в ученом обществе в Бругге рассуждение “о простых средствах домашнего воспитания дитяти, с колыбели до 6-летнего возраста”. В этом же году мы видим его посещающим училище Целлера в Бейгене, основанное на идее Песталоцци. Здесь дети встретили его гимном и

поднесли ему дубовый венок: всегда скромный, Песталоцци отклонил от себя эту честь, говоря, что он не достоин ее. В феврале 1827 года Песталоцци захворал; не оставалось сомнений, что великой жизни наступил конец. Песталоцци встретил смерть спокойно. Последними его словами были:

“Я прощаю врагам, да живут они в мире, а я переселяюсь к вечному миру. Я желал бы еще пожить хотя месяц, чтобы окончить мои последние труды; но все-таки благодарю Провидение за то, что оно отзывает меня от земной жизни. А вы, мои близкие, живите в спокойствии, ищите счастья в тихом домашнем кругу”.

17 февраля 1828 года Песталоцци не стало. Тело 82-летнего старца было погребено в местечке Бирр. Последние почести были отданы теми, кого, конечно, Песталоцци всего приятнее было видеть у своего гроба, – сельскими учителями и школьниками.

ГЛАВА VI. ХАРАКТЕР И ВОЗЗРЕНИЯ ПЕСТАЛОЦЦИ

Характер Песталоцци. – Отзыв Риттера. – Всепроникающая любовь Песталоцци. – Песталоцци и дети. – Песталоцци и современное ему общество. – Педагогические воззрения. – Критика старой системы. – Задачи народного образования. – Искусство воспитания. – Домашнее воспитание и обучение. – Основной принцип обучения и воспитания. – Приемы и задачи преподавания. – Крайности теории. – Песталоцци как учитель-практик. – Общее значение Песталоцци

Предыдущее изложение фактов жизни Песталоцци уже знакомит читателя как с характером этой своеобразной, совершенно выходящей из обычных рамок, личности, так и, в общих чертах, с воззрениями великого педагога. В настоящей главе мы лишь попытаемся соединить вместе и изложить несколько подробнее то, о чем урывками говорилось по этому поводу на предыдущих страницах.

В одном из своих автобиографических сочинений Песталоцци характеризует себя следующими словами:

“Весь свет казался мне таким же добродушным и доверчивым, как моя собственная личность. Естественным последствием этого было то, что с самой юности я делался жертвой всякого, кто хотел надо мною посмеяться. По своей природе я никогда не мог думать о ком-нибудь дурно, пока сам в этом не убеждался и не терпел от этого ущерба. Доверяя другим людям более чем должно, я и к себе был слишком доверчив, предполагая в себе больше сил, чем имел на самом деле”.

Нет сомнения, что такая характеристика была в значительной мере несправедлива. Едва ли Песталоцци можно упрекнуть хотя бы малейшим образом в самомнении, так как его нравственные и умственные силы давали ему право думать о себе гораздо лучше, нежели он думал обыкновенно, смотря на себя как на очень заурядного человека. Точно так же следует признать, что опыт не делал Песталоцци менее доверчивым к кому бы то ни было и не заставлял изменять о ком-либо хорошее мнение на дурное. Характерный пример бесконечной доверчивости представляет отношение Песталоцци к Шмидту. Песталоцци не раз убеждался в

недобросовестности Шмидта во время его заведования хозяйством Ивердонского института – и, тем не менее, Шмидт продолжал пользоваться прежними доверием и любовью Песталоцци. Затем Шмидт покидает институт, возбуждает против Песталоцци процесс, основанный на подлогах, и печатает относительно Ивердонского института гнусный пасквиль под названием “Воспитательное заведение, составляющее позор для человечества”. И после этого Песталоцци не может вырвать из своего сердца образ своего бывшего ученика, и на злобу и ненависть его отвечает любовью и словами примирения. Шмидт возвращается, делает все, что от него зависит, чтобы погубить институт, и снова уходит; Песталоцци и после этого продолжает относиться к Шмидту хорошо, и в последние два года своей жизни снова сближается с этим двуличным человеком. Отношение Песталоцци к людям вроде Шмидта объясняется полным отсутствием у него способности ненавидеть, быть озлобленным, мстить. Это был избыток любви и чрезмерного развития уважения к человеку, к его душе, не допускавший и возможности видеть людей в их действительном, непривлекательном виде. Неисправимый добряк до могилы судил о людях по себе.

Один биограф характеризовал эту основную черту характера Песталоцци в следующих восторженных выражениях, которые мы приводим целиком:

“Такого бескорыстного, чуждого всякой лжи и притворства, такого безгранично, всецело преданного делу народного образования, с запасом какой-то лихорадочной деятельности человека еще свет не создавал. Едва ли найдется другой человек, сердце которого было бы таким богатым источником любви, как сердце Песталоцци. Эта любовь была его существенной жизненной потребностью, управлявшею всеми его действиями и стремлениями. Редко кто так бескорыстно, так горячо любил свое отечество, как Песталоцци, редко кто с такою глубокою грустью, с такою жгучею болью в сердце смотрел на недуги времени; немногие были столь откровенны и прямы во всех своих поступках и действиях”...

Эти особенности характера Песталоцци производили чарующее впечатление на всех, кто имел случай познакомиться с ним, всмотреться в него. По этому поводу мы приводим слова человека, меньше всего склонного к поверхностным увлечениям, – знаменитого географа Риттера. Посетив Ивердонский институт, Риттер писал по поводу этого посещения:

“Мое сердечное желание увидеть борца и мученика за правду удалось мне. И больше чем удалось, потому что я успел приобрести его расположение и возвращаюсь с согретым сердцем в обычно холодную

жизнь. Благодарю тебя, – обращается затем Риттер к Песталоцци, – за твою любовь. Она научила меня любить теплее и чище; она закалила меня для житейской борьбы, которую должен вести всякий, для кого жизнь предпочтительнее смерти. В твоей любви я познал истинную христианскую любовь, которую согревается мир точно так, как освещается идеей”...

Можно сказать, что распространение идей Песталоцци в такой же мере обусловлено благородными качествами его личности, в какой и внутренним достоинством этих идей. Они заимствовались публикой столько же из книг, сколько из личных бесед с Песталоцци, и второй путь, при том громадном влиянии, какое оказывала личность Песталоцци на всех вступивших с ним в общение, – оказывался, без сомнения, более прочным.

Но где особенно ярко выражались благороднейшие качества Песталоцци – так это в его отношении к бедным и в особенности к детям. До конца своих дней он остался неисправимым “мечтателем”, который не мог примириться с существованием нищеты. Главным мотивом деятельности всей его жизни было именно желание если не уничтожить, то хоть ослабить эту ужасную нищету. Он сам ясно сознавал, что именно таким было основное его побуждение к деятельности. Вот его слова по этому поводу:

“Я терпел то, что терпел народ, и народ казался мне тем, чем он действительно был и чем он не казался никому более. Я целые годы просидел, как сова среди дневных птиц. То, что никого не обманывало, меня обманывало всегда; зато меня не обманывало то, что обманывало всех. Посреди язвительного смеха отвергавших меня людей, среди их иронических восклицаний: “Бедняк! ты меньше последнего поденщика в состоянии помочь себе, и воображаешь, что можешь помочь народу!” – среди этих насмешливых, едких восклицаний, которые я слышал из всех уст, – мое взволнованное сердце не уставало стремиться к одной цели – закрыть источник нищеты, погруженным в который я видел народ”.

Истинное царство Песталоцци было среди детей. Его любовь к детям не знала предела. В Нейгофе, Станце, Бургдорфе и Ивердоне – везде он отдается детям всей своей душой. Мы видели, что делал Песталоцци ради детей в Нейгофе и Станце! Эти подобранные с большой дороги бродяжки – грязные, чесоточные, ленивые, испорченные – заменяли для Песталоцци весь мир: он весь отдавался служению этим несчастным, на которых большинство из нас не в состоянии даже взглянуть без отвращения. Здесь Песталоцци наглядно показал, чем должен быть истинный воспитатель, к какому самоотвержению он должен быть способен. Вместе с тем он показал, как много можно сделать с душой ребенка, как могущественно

влияние на нее истинной любви. Мы видели, каких чудес он достигал в Нейгофе и Станце единственно тем, что весь отдавался детям и заставлял невольно любить себя даже наиболее испорченных из них.

Эта любовь к детям дала возможность Песталоцци правильно взглянуть на нужды и потребности детской души и установить основы истинного искусства воспитания, которые – увы! – еще и доселе остаются недоступными пониманию многих, а во времена Песталоцци и вовсе казались большинству лишь странным чудачеством.

Положение Песталоцци в современном ему обществе вообще было очень странным: к нему то относились с пренебрежением, считали его чудаком и даже безумным, третировали как не способного ни к чему человека, то, напротив, приходили от него в восторг, увлекались им и прямо поклонялись ему. Объясняется такое двойственное отношение тогдашнего общества к Песталоцци тем, что, с одной стороны, он совершенно не подходил к современному ему обществу, а с другой – его личность была так велика и его идеи носили в себе такую ценную истину, что совместное влияние обаятельной личности и великих идей преодолеvalo враждебное отношение общества к нему как чужому для этого общества и покоряло это последнее.

Песталоцци был чужой в современном ему обществе не только потому, что он был человеком “не от мира сего” и, значит, был бы чужим едва ли не во всяком обществе, а также и не потому только, что его воззрения относительно воспитания и обучения – главный предмет, над которым работала его мысль, – шли настолько вразрез с прежде господствовавшими. Была и еще причина, в силу которой Песталоцци был совсем не по душе современному ему интеллигентному обществу. Он обладал тем, что так редко бывает у людей, принадлежащих к “обществу”, и что может быть названо “чутьем жизни”. В этом случае Песталоцци разделял общую участь с населением французской Вандеи и швейцарских горных кантонов. Казалось бы, что может быть нелепее восстания крестьян Вандеи или Унтервальдена против революции, направленной именно к освобождению их от тяготевших над ними несправедливостей общественного строя? Однако новейшая история показала нам, что в этих восстаниях был весьма определенный смысл, что если восставшие неправильно выбрали знамя (возвращение *всей* старины), то причина восстания была вполне основательной – уничтожение революцией вместе с дурным и того хорошего, что было слишком важным для населения (изъятие в Вандее у крестьян принадлежавшей им земли, которая по незнакомству с положением вещей была признана принадлежащей дворянам, и

уничтожение самостоятельности кантонов в Швейцарии). Теперь это понятно, но тогдашняя интеллигенция не понимала основательности недовольства вандейцев и горных пастухов Швейцарии и только злилась на их тупоумие. Точно так же и Песталоцци, умевший видеть вместе с “хорошими сторонами” производившегося в конце XIX столетия переворота и дурные стороны этих событий, был очень и очень не по душе тогдашнему, увлекавшемуся новыми порядками, обществу. В самом деле, кому мог быть приятен в самый разгар увлечений революцией человек, предсказывавший близкую гибель только что установленных порядков? Это было время, когда царила вера во всемогущее влияние политических форм, когда люди думали, что стоит только создать свободные учреждения, – и на земле воцарится рай. И вот в это-то время находился человек, который осмеливался говорить, что никакой политический строй не может держаться прочно, если им не дорожит масса народная, что новыми порядками масса не будет дорожить, так как она не понимает их значения и так как представители нового движения не заботятся о том, чтобы поднять уровень понимания этой массы, просветить ее образованием, – то новые порядки обречены неизбежно на гибель. Что же удивительного в том, что современники относились к Песталоцци то как к сумасшедшему, то как к опасному человеку, то как к чудаку, который поставил себе целью быть вечно недовольным – недовольным всеми и всем?

И, однако, несмотря на все это, Песталоцци удавалось не раз покорять современное ему общество, заставляя его интересоваться своими идеями и начинаниями, признавать за собою и своими воззрениями силу истины. Это было и в Нейгофе, и в Станце, и в Бургдорфе и с наибольшею силою проявилось в Ивердоне. Здесь мы имеем один из поразительных примеров той громадной силы, которую может иметь личность, того поразительного влияния, которое может оказать единичный почин вопреки инертности общества и других неблагоприятных условий. Ввести в моду то, что соответствует своекорыстным интересам общества или потворствует его слабостям, находится в согласии с его привычками, обычными воззрениями, – нетрудно; но увлечь общество тем, что идет совершенно вразрез со вкусами, привычками, господствующими взглядами, узкими интересами, – это достояние гения, и Песталоцци, оцениваемый с этой точки зрения, является истинным гением. История оправдала часть стремлений и воззрений Песталоцци, осуществив их в жизни, несмотря на могущественную оппозицию им общественной инертности, и рано или поздно оправдает тем же путем и остальную часть этих воззрений.

Старая постановка дела народного образования, равно как и

господствовавшие дотоле системы воспитания и обучения, найти в Песталоцци беспощадного критика. Главным, коренным недостатком тогдашнего положения вещей он вполне основательно считал почти полное отсутствие народного образования.

Коренным недостатком господствовавших систем воспитания и образования была царившая в них косность. Песталоцци понимал, что эта косность воспитания и обучения обуславливалась замшелостью самой жизни тогдашнего общества. Эта мысль о зависимости печального положения воспитания и образования от господства “искусственности” в жизни была одной из любимых идей Песталоцци и постоянно повторяется в его произведениях.

“Мы не должны скрывать от себя, – говорит Песталоцци в одном месте, – что наш век дошел до крайней, утонченнейшей искусственности, что мы далеко отступили от той простоты и невинности, при которых немислимы ложь и несправедливость”. “Настоящая искусственная жизнь, – читаем в другом месте, – направлена против высших жизненных интересов, так что в ней мы не узнаём себя. Насколько это верно, – видно из того, что мы не понимаем потребностей человеческой природы и отказываемся от ее прав”. “Мы не в состоянии видеть отдаленных источников зла, коренящихся в наших умах, в характере наших восприятий и чувствований, в желаниях и привычках; между тем они присущи нам и проникают все наши действия; от них происходит то или другое настроение духа и сердца тех людей и сословий, от которых народ и молодое поколение ждут помощи; сословия эти прививают народу и юношеству свои понятия и наклонности, свои желанья и привычки”. Мы живем разлагающеюся жизнью, и разложение это обуславливается той искусственностью, которая проявляется во всех наших жизненных отношениях и особенно в условиях общественной жизни. Мы уже не обращаем внимания на свои высшие потребности, к которым принадлежат и воспитание народа, и благосостояние бедных людей; мы не понимаем высших благ человеческого существования.

Так глубоко и так печально влияние господства искусственности в жизни на воспитание и образование. И Песталоцци всеми силами восстает против всего искусственного в воспитании. Выше мы приводили сделанное Песталоцци сравнение перехода ребенка от жизни с природою в дошкольный период к искусственной школьной жизни – с отсечением головы этому ребенку. Приводили мы также горячие тирады Песталоцци против системы обучения, при которой слова заступают место фактов, и ребенка знакомят с формой, отвлеченным, “чужим” раньше, чем с

реальным, близким, родным. Такие филиппики против искусственности, неестественности в воспитании и обучении встречаются в произведениях Песталоцци на каждом шагу. Условное, слово, буква – вот основа той системы, против которой восставал Песталоцци. Вместо того, чтобы знакомить ребенка с тем, что *есть* в действительности и что будит его мысль, заставляет думать, искать причинной зависимости явлений и делать сравнения и обобщения, – детей заставляют заучивать то, чего *нет* в действительности, что выдуманно и над чем ребенку совсем невозможно работать головой. Последствия такой системы образования должны быть самыми печальными, и Песталоцци так рисует питомцев этой системы:

“Жалкие болтуны, неестественным ходом своего образования доведенные до того, что они не чувствуют, что сами стоят на ходулях и что вследствие того должны каждый раз слезать со своих жалких деревянных подпор, если желают с равной твердостью, как и прочий народ, стоять на земле Божией”. “Пустословие в наше время, – говорит Песталоцци в другом месте, – сделалось неизбежным занятием десятков, сотен, тысяч людей, которые трудятся над ним, как будто из-за насущного хлеба, и потому конца такому состоянию наших современников ожидать нельзя – ранее того времени, когда они захотят внять с любовью тем истинам, которые противоречат их чувственной загрубелости”.

В чем же состоят эти истины, в которых – спасение?

Что касается постановки дела народного образования, то Песталоцци дал ответ на поставленный вопрос еще в первые годы своей деятельности. Уже в “Вечерних часах отшельника”, написанных немедленно после крушения детского приюта в Нейгофе, он устанавливает, что все люди рождаются с равными правами на развитие своих душевных сил, а потому имеют и равное право на образование. Итак, начальное образование должно быть доступно решительно всем детям. Теперь это положение – азбучная истина, против которой в Европе уже никто не восстает, и которая во многих европейских странах уже осуществлена. Но в то время, когда эту истину высказывал Песталоцци, она была неожиданной новостью, шедшей притом вразрез с интересами высших сословий, для которых выгодно было держать народ в невежестве. И если у нас еще доселе есть люди, которые в образовании народа видят (или, по крайней мере, притворяются, что видят) какое-то бедствие, то что же удивительного в том, что много лет тому назад проповедь Песталоцци о необходимости дать образование всем детям поголовно была встречена одними как нелепость, а другими – как нечто опасное? Честь и заслуга Песталоцци в том, что он сумел пробить окружавшую его прочную стену и уже при своей жизни мог увидеть, что

его важнейшая идея поборола труднейшие препятствия, получила широкое распространение и была на пути к осуществлению в жизни.

Но почему же всем должно быть доступно одно только начальное образование? Песталоцци отнюдь не останавливался на этом требовании. В идеале у него было желание, чтобы весь народ, все члены общества получали весь тот цикл образования, который дает право человеку именоваться образованным. Но как был далек этот идеал от осуществления в эпоху, когда даже начальное образование было недоступно почти никому из народа! Высказывать поэтому приведенное требование – значило заставить считать себя совсем сумасшедшим. И потому Песталоцци, выразив свой идеал лишь в самой общей форме, ограничился требованием того, что должно составлять лишь первую ступень к достижению идеала и средством приближения к нему. “Народное образование лишь тогда может оказать действительно громадное влияние на все население, – читаем мы в одном из произведений Песталоцци, – когда значительная часть детей из низших классов получит самое полное образование, притом так, чтобы эти счастливицы не только не были отчуждены образованием от той среды, в которой они родились, но чтобы образование еще более сблизило их с родною средою”.^[4] К сожалению, и это скромное желание Песталоцци находит осуществление лишь в исключительных случаях...

Идеалом воспитания и обучения является воспитание и обучение в семье. Сопоставляя, однако, этот идеал с фактом, что те, кто должен осуществлять этот идеал, – родители сами в огромнейшем большинстве случаев являются полными невеждами, – Песталоцци и в этом случае делал крупную уступку обстоятельствам и для начала ставил практическое требование, чтобы во всяком случае начальное воспитание и образование давалось семьей.

“Мать должна давать ребенку первую нравственную пищу, как она ему дает первую пищу для его физического развития, – писал Песталоцци. – И я считаю чрезвычайно важным то зло, которое происходит от слишком раннего школьного обучения и развития искусственности в детях, слишком рано покидающих свою домашнюю обстановку. Наступит время, когда приемы обучения настолько упростятся, что всякая мать в состоянии будет обучать своих детей без посторонней помощи и, обучая, сама будет идти вперед в своем развитии”. Песталоцци питал глубокую уверенность в том, что “явится поколение, которое, с одной стороны, узнает из личного опыта, что для того, чтобы приобрести путем семейного обучения известное количество познаний, требуется только десятая часть того времени и тех сил, которые употреблялись для этого прежде в школе, и что, с другой

стороны, *возможно настолько согласовать это обучение с домашними условиями, относительно времени, сил и вспомогательных средств*, что самые простые семьи будут стараться осуществлять это обучение через кого-либо из своих членов, причем упрощение метода преподавания и постоянное возрастание числа грамотных людей сделают это еще более возможным”.

Итак, начальных школ не должно быть. Они должны быть заменены воспитанием и обучением детей в семьях. Начальное обучение так просто при применении разумных методов, что оно доступно всякому, и каждый должен учить своих детей.^[5]

Но о замене дальнейшего школьного воспитания и образования, следующего за начальным воспитанием и образованием в семье, – об этом, в применении к огромнейшему большинству, если не ко всем тогдашним семьям, – нечего было и думать. Приходилось мириться со школьным воспитанием и обучением как с необходимым злом. Но зло это должно быть ослаблено всеми мерами, и если нельзя заменить школы семейным воспитанием и обучением, то необходимо придать школе, насколько это возможно, семейный характер.

“Общественное (т. е. школьное) воспитание, – говорит Песталоцци, – должно стараться приобрести хотя бы часть тех преимуществ, которые имеет перед ним домашнее воспитание, потому что первое только посредством подражания последнему и может иметь значение для человечества. Всякое разумное воспитание требует, чтобы глаз матери ежедневно и ежечасно следил бы по лицу ребенка за всяким изменением его душевного состояния. Точно так же существенно необходимо, чтобы отношение воспитателя к детям было чисто родительское, совершенно подобное истинным семейным отношениям. На этом я и основал свою систему. Мои питомцы должны были с утра и до позднего вечера, во всякую минуту дня, читать на моем лице и понимать из всех моих слов и дел, что я предан этим детям всем сердцем, что их счастье – мое счастье, их радость – моя радость... Ребенок хочет всего, что делает его достойным любви, а также и того, что делает ему честь. Нужно только уметь воспользоваться этим стремлением. Но возбуждать это стремление и руководить им должно не при помощи слов, а через всестороннее попечение о ребенке и развитие в нем сил и чувств. Слова не могут заменить самого дела, а могут только уяснить его. Следовательно, прежде всего воспитатель должен стараться заслужить доверие и расположение детей. Если это будет достигнуто, все остальное придет само собою”.

Итак, важнейшее требование правильно поставленного воспитания

состоит в том, чтобы оно имело характер семейного, т. е. чтобы отношения между воспитателем и воспитываемыми были те же, какие существуют в хорошей семье. Иначе говоря, воспитание должно быть основано на любви, и вне любви не может быть воспитания.

Отсюда вытекает другое основное условие правильного воспитания: при воспитании и обучении не должно быть ни малейшего насилия. Оно излишне, если воспитание ведется на началах любви; оно и бесцельно в силу того, что душа ребенка склонна более к добру, нежели к злу, и испорченность ребенка – уже последствие дурного воспитания.

“Человек по своей природе стремится к добру, – говорит Песталоцци, – и ребенок тоже чувствует к нему расположение. Но он стремится к добру не для тебя, учитель, и не для тебя, воспитатель, а именно для самого себя. Добро, к которому ты должен направлять ребенка, не должно быть следствием твоей прихоти или страсти, а *должно вполне исходить из природы вещей* и казаться таковым в глазах дитяти. Ребенок *должен сознавать*, что твоя воля определяется необходимостью, вытекает из положения вещей”.

После сказанного становится понятным и основной принцип нравственного воздействия воспитателя на воспитываемых, как он сформулирован Песталоцци. В этом отношении самое важное воспитать в ребенке такого рода душевное настроение, при котором он питал бы внутреннее отвращение ко всему дурному и влечение ко всему хорошему; внушение же частных правил морали – дело второстепенное. Чтобы достигнуть такого результата, нужно действовать не словами, не наставлениями, а делом, давая ребенку возможность практиковаться в совершении добра. Пункт этот настолько важен, и учение Песталоцци в такой мере расходится на этом пункте с современной педагогикой, “отцом” которой облыжно называют Песталоцци, что мы приведем здесь довольно длинную выписку из сочинений великого педагога.

“Во времена языческие и в первые века христианства видели особую силу в нравоучениях; последним, по наследованному преданию, и в наше время придают значение, какого они вовсе не имеют. Катехизирование же нравоучений, к чему прибегают современные учителя, не превышает простой болтливости.

Я полагаю, что слишком словоохотливое преподавание, в первый период умственного развития ребенка, может помешать правильному ходу этого развития. Я убедился на опыте, что все зависит от того, чтобы дети сознавали истину всякого положения не иначе как *убедившись в этом при посредстве каких-нибудь действительных фактов*.

Истина, лишенная такого основания, представляется детям большею частью непонятною и утомительною игрушкою.

Вполне справедливо, что те из основных положений человеческого сознания, которые приводят человека к простому, немногословному, но глубоко развитому чувству истины и права, составляют для него действительный противовес против многих важных и опасных последствий важных суждений. В таких людях – и вредное семя искаженного преподавания никогда не пустит глубоких ростков; и даже предрассудки, невежество и суеверие в них не настолько сильны, как мы это видим у многих бессердечных болтунов, так красно говорящих о религии и справедливости.

Такие основные положения человеческого мирозерцания представляют из себя чистейшее золото, между тем как истины, вытекающие из них и подчиненные им, можно рассматривать как мелкую монету. Когда я вижу перед собою человека, плавающего в море бесчисленных капельных истин, я не могу воздержаться, чтобы не сравнить его с бездушным мелочным торговцем, который через скопление мелких, грошовых барышей сделался наконец богатым и воспитал в себе такую любовь не только к процессу собирания грошей, но даже к самым этим грошам, что ему делается страшно при одной мысли потерять какой-нибудь грош”.

В своих сочинениях Песталоцци постоянно говорит одновременно и о воспитании, и об обучении, справедливо полагая, что для того и другого должны быть одни и те же основные принципы, один метод, одни основные приемы. Так, признав, что истинное искусство воспитания всецело покоится на любви, он и относительно обучения говорит следующее:

“По моему мнению, источник всякого порядка, метода, искусства в обучении должен заключаться в любви к детям. Другого я не допускаю”.

Точно так же приведенная выше выписка из сочинений Песталоцци, как видно из ее содержания, в равной мере относится к нравственному воспитанию, как и к обучению. Факт – вот что должно быть основою как воспитания, так и обучения, а отнюдь не одно слово, не одно поучение. Преподавание поэтому должно начинаться с чувственных воззрений и этим путем доводить учащихся до ясных и точных понятий.

“Мы ослеплены магическим действием языка до того, – говорит Песталоцци, – что, произнося слова, мы не соединяем с ними воззренческого понятия”. Песталоцци восстает против “всякого учения, внушенного людьми, которые сами не научились мыслить сообразно с

законами природы” – учения, “в котором определения, как *deus ex machina*, [6] появляются в уме каким-то волшебством и подсказываются детскому уху, будто театральным суфлером”, и которое, поэтому, “дает людям жалкое, комедиантское образование”. “Определения, – продолжает Песталоцци, – служат самым простым и чистым выражением для ясных понятий; но они только тогда имеют для ученика действительное значение истины, когда он сам сознаёт их основу – чувственное воззрение; если же ему недостает в этом отношении надлежащей ясности, то он, затверживая определение, приучается только к пустословию, обманывает сам себя, принимая звуки за понятия, – отсюда все наши бедствия!”

Итак, основой преподавания должна быть *наглядность*. Не из слов, а из фактов действительности должен ученик узнавать то, что считают нужным преподать ему. Слова же учителя должны быть только разъяснением того, с чем ученик знакомится непосредственным восприятием. Так именно учит своих детей Гертруда, – это воплощение воспитательного идеала Песталоцци. Дети ее учатся не в классной комнате, а в доме, на дворе, в саду, в поле, в лесу; у них нет уроков, нет учебников – все это заменяется их собственными опытами и наблюдениями, сопровождаемыми и руководимыми живыми беседами матери.

В преподавании, как и в воспитании, не должно быть места насилию, принуждению. Ученик должен ознакомиться с тем или другим не потому, что его принуждают к тому, требуют от него этого знакомства, а потому, что предмет заинтересовывает его, что в нем вызвана потребность ознакомиться с ним. Последнее достигается без особенного труда, если обучение ведется правильно, т. е. если оно, во-первых, основано на наглядности, и во-вторых, начинается с предметов и явлений близких, родных ребенку и затем уже переходит к более отдаленным и чуждым. Песталоцци одинаково возмущался как заменой в школах предметного, наглядного преподавания словесным, “буквенным”, отвлеченным, так и стремлением сообщать детям сведения о прошлом, когда они не знают настоящего, и о чужих странах, невиданных зверях и растениях, неслыханных явлениях природы и т. д., когда дети не знают еще родного села или города, не ознакомились должным образом с окружающими их животными, растениями и другими предметами, не составляли ясного понятия о ежедневно наблюдаемых ими явлениях.

Таковы основы той педагогики, которую создал Песталоцци. Посмотрим теперь, какие из этих основ он выводил практические приемы и как применял их к делу.

Собственно, в области воспитания он всегда оставался верен

основным положениям своей теории. Выше, говоря о деятельности Песталоцци в Станце, мы нарисовали картину практической работы его как воспитателя. Читатель может видеть, что в этом отношении Песталоцци и на практике оставался вполне последовательным. Вся его воспитательная деятельность всецело проникнута теми началами, которые он сформулировал как основы истинной педагогики, – и мы здесь ограничимся лишь указанием на эту последовательность, доказательства которой представлены в предыдущих главах. Совсем иное должно быть сказано о Песталоцци как учителе-практике.

Разрабатывая приемы преподавания, Песталоцци впал в такие крайности, до такой степени увлекся искусственностью, что невольно спрашиваешь себя, – неужели это один и тот же человек, который дал нам такую высокую, разумную схему основ педагогики и в то же время мог рекомендовать такие ни с чем несообразные вещи, примеры которых читатель увидит сейчас. Мы не будем здесь излагать все заблуждения Песталоцци, так как это завело бы нас слишком далеко. Мы представим здесь лишь образчики, которые достаточно скажут читателю.

В полную противоположность своей основной идее о том, что ребенок должен начать учиться путем ознакомления с предметами, фактами, тем, что есть в действительности, Песталоцци на практике рекомендует начать обучение дитяти с заучивания звуков и слогов, причем этим “ученьем” должно начать мучить ребенка еще грудным!

“Азбука, – говорит Песталоцци, – должна заключать в себе в полном объеме все звуки, из которых состоит язык. В каждом доме дитя, начинающее читать склады по книге, или же сама мать ежедневно над колыбелью еще не говорящего младенца должна повторять эти звуки, дабы они через частое повторение глубоко укоренились в его сознании, прежде чем он будет в состоянии произнести хоть один из этих звуков. Никто не может себе представить, до какой степени это повторение отдельных звуков: “ба, ба, ба, да, да, ма, ма, ма, ла, ла, ла” возбуждает внимательность младенца и нравится ему”. “Когда дитя научится говорить, его надо заставлять ежедневно повторять эту вереницу звуков. Затем должно следовать упражнение в складах”.

Чтобы облегчить учителю и матери ведение этого изумительного упражнения над грудными и едва говорящими детьми, Песталоцци составил даже особую “книгу слогов”.

За этим началом ученья должно следовать не менее удивительное продолжение. В “Книге для матерей” приведен страшно длинный список названий “важнейших предметов из всех царств природы, из истории,

географии, различных человеческих занятий и отношений”. Этот список имен всевозможных предметов ученик должен заучить наизусть, упражняясь на нем в чтении. “Опыт доказал мне, – говорит Песталоцци, – что память дитяти может вполне усвоить себе эти названия в тот промежуток времени, какой нужен ему, чтобы выучиться читать. Усвоение памятью такого обширного ряда самых разнообразных имен неимоверно облегчает для детей дальнейшее ученье”.

А “дальнейшее ученье” должно состоять в “языкоучении”. Суть этой удивительной науки состоит в следующем. Песталоцци делит все изучаемое на пять рубрик: землеописание, история, учение о мертвой природе, естественная история (учение о живой природе) и антропология. Каждый из этих отделов подразделяется на 40 меньших, так что получается всего 200 частей, причем для каждой из последних составлен в алфавитном порядке длиннейший ряд имен предметов, входящих в её состав. Эти ряды имен ученики должны повторять, пока не заучат. Чтобы показать наглядно все значение подобной системы, сообщаем здесь пример, который приводится самим Песталоцци. Европа есть одна из частей суши. Германия есть одна из частей Европы. Дойдя до Германии, ученикам сообщают, что она делится на десять округов, названия которых заучиваются учениками. Затем ученикам представляют длинные списки германских городов, рек, гор и т. д., и всё это они должны заучивать. Как велико число имен, зазубривать которые должны дети по этой системе, видно из того, например, что одних немецких городов, начинающихся с буквы *a*, занесено Песталоцци в “словарь имен” целых 31. Само собою разумеется, что 9/10 этих городов – ничтожнейшие местечки, знать имена которых решительно никому не нужно. Зазубрив несколько сот имен городов, дети должны были, смотря на таблицу, где помещены эти имена рядом с цифрами, означающими тот или иной округ, выкрикивать хором: “Ахен лежит в Вестфальском округе, Абенберг – во Франконском” и т. д. Покончив с городами, переходят к рекам, горам и т. д. После Германии таким же способом познакомились с другими странами Европы, после чего то же проделывали с другими частями света. Вызубрив несколько тысяч географических имен, дети могли сказать, что они закончили изучение одной из 200 частей великого словаря имен. Можно себе представить, что было бы с несчастными, одолевшими все 200 частей! К счастью, это физически невозможно. А между тем указанные упражнения представляют собою лишь начало “языкоучения”. Следующую ступень в этом деле должны составлять упражнения в приискивании признаков к предмету и предметов к признаку. Ученики выписывали из “словаря имен” названия

предметов и приискивали к ним названия признаков. Получалось следующее:

Аист — серый, длинноногий, длинноносый.

Алмаз — прозрачный, твердый.

Апельсин — круглый, оранжевый, желтый и вкусный. И т. д.

Затем шли обратные упражнения:

Круглый — шар, шляпа, луна, солнце.

Легкий — перо, пух, воздух.

Теплый — печка, летний день.^[7]

Затем детям называют разные предметы, и они должны отвечать, куда должно отнести имена этих предметов: 1) к географии, 2) истории и 3) к естествознанию. Напрактиковавшись в этом упражнении, ученики должны составить таблицы имен по каждому из указанных отделов.

Далее ученики заучивают небольшие предложения: “Отец добр. Бабочка летает. Сосна пряма”, – после чего им задают вопросы: “Кто добр? Кто летает? Кто пряма?”, а они отвечают заученными предложениями: “Отец добр”, и т. д.

Теперь ребенок считается подготовленным к более сложным упражнениям. Последние состоят в том, что ребенку предлагают такого рода удивительные вопросы:

Кто имеет что-нибудь, чего нет у других? Что он имеет?

Кто хочет? Чего хочет?

Кто может что-нибудь делать? Что он может делать?

Кто должен что-нибудь делать? Что он должен делать? И т. д.

Дети должны давать на эти вопросы ответы в таком роде:

Человек имеет разум. Лев – силу.

Голодный хочет есть. Пленник хочет свободы.

Рыба может плавать. Белка может прыгать.

Лошадь должна нести упряжь. И т. д.^[8]

Затем следует заучивание определений различных предметов и действий, вроде следующего:

“Колокол – это металлическая чашка, внизу открытая, широкая, сверху узкая; она имеет внутри отвесный стержень, свободно висящий, который ударяет в обе стороны чашки, если его двигать, и производит звук, который мы называем звоном”.

Далее следует изучение измерения, рисование и письмо. Мы, однако, не будем останавливаться на них; скажем только, что и эти предметы изучаются совершенно так же, как идет изучение языка. Остановимся

только на “искусстве счисления”.

В “Книге для матерей” изображен ряд предметов, которые должны дать ребенку понятие единицы, двух, трех – до десяти. Затем детей упражняют в отыскании единиц, двоек, троек и т. д. на пальцах, на камешках и т. д. Когда дети изучают буквы, они вместе с тем считают их. То же проделывается со слогами и целыми словами. Берется табличка с буквами, и детей спрашивают: “Много здесь табличек?” Те отвечают: одна. Добавляется другая табличка и спрашивается: одна да одна, табличка – сколько всего? Дети должны отвечать: “Одна да одна составляют две”. Когда таким образом дойдут до десяти, идет обратный счет с вычитанием одной, двух и т. д. табличек. Затем ребенку дают две таблички и говорят:

“Если у тебя две таблички, то сколько раз у тебя повторена одна табличка?” На этот мудреный вопрос дитя должно отвечать:

“Если у меня две таблички, то у меня табличка повторена два раза”. Затем идут вопросы: “Сколько раз один содержится в трех, четырех” и т. д.

Мы не будем указывать здесь на то, что при изложенном способе ознакомления детей с вычислением – помимо вычурности искусственности самого способа – теряется всякое образовательное значение занятий арифметикой, которое именно и состоит в приучении детей к отвлеченному мышлению, – как не будем входить в критику и других рекомендуемых Песталоцци и указанных выше предметов обучения. Полагаем, – достаточно отметить эти приемы, а значение их слишком ясно и без всяких критических замечаний.

Еще в булльшие крайности вдавался Песталоцци как учитель-практик. Собственно говоря, нагляднее всего несостоятельность рекомендуемых им приемов обучения проявилась в его собственной преподавательской деятельности. Вот как описывает приемы Песталоцци Рамзауер, учившийся в его школе:

“Школьным образом, собственно говоря, мы там ничему не учились... Школьной программы не было; не было и распределения уроков... Преподавание ограничивалось рисованием, счислением и упражнениями в языке. Нас не занимали ни чтением, ни письмом; у нас не было ни книг, ни тетрадей; наизусть мы также не заучивали никаких отрывков ни светского, ни духовного содержания. Для рисования нам не раздавали ни оригиналов, ни каких-либо нужных для этого дела принадлежностей; был только мел да доски, и в то время как Песталоцци вслух говорил нам предложения из естественной истории (для упражнения в языке), мы должны были рисовать, кто что хочет. Но мы не знали, что нам рисовать, и потому один рисовал домики, другой человечков, третий чертил просто палочки, словом,

рисовали всё, что вздумается. Впрочем, Песталоцци никогда и не глядел, что мы там рисуем или, вернее, намараем; но по платью нашему и особенно по рукавам мог бы всякий заметить, что мы усердно занимались рисованием.

Для счисления садились мы по двое, и перед каждою парюю была табличка, наклеенная на папку. На этой табличке были квадратики с точками; эти точки мы должны были складывать, делать над ними вычитание, умножение и деление. Но так как Песталоцци обыкновенно заставлял только повторять за собою по порядку, что он скажет, а никогда ничего не задавал и не спрашивал, то эти упражнения приносили мало пользы. К тому же он не был достаточно терпелив для того, чтобы заставлять повторять или задавать вопросы, и при всем рвении, с которым он преподавал, казалось, не заботился ни об одном ученике. Еще оригинальнее шли упражнения в языке, которые производились при содействии обоев классной комнаты как пособия для наглядного обучения. Обои были очень старые и во многих местах разорванные; перед ними-то стояли мы в ряд в течение 2–3 часов и должны были говорить предложениями обо всем, что замечаем на обоях, о всех рисунках, прорехах, о числе, цвете и фигуре видимого нами. Песталоцци обыкновенно начинал вопросом: “Мальчуганы, что вы тут видите?” Ответ: “Дыру на стене. Прореху на стене”. Песталоцци продолжал: “Хорошо! Теперь повторяйте за мной: “Я вижу прореху на обоях. Я вижу длинную прореху на обоях. За прорехою я вижу стену. За длинную, узкою прорехою я вижу стену”. Затем переходили к фигурам. Песталоцци начинал: “Говорите за мною: “Я вижу фигуры на обоях. Я вижу черные фигуры на обоях. Я вижу черные круглые фигуры на обоях. Я вижу четырехугольную желтую фигуру на обоях. Возле четырехугольной желтой фигуры я вижу круглую черную. Четырехугольная фигура соединяется с круглою посредством толстой черной черты”, и т. д. – без конца.

Еще менее достигали какой-либо цели те упражнения, которые состояли в перечислении предметов из естественной истории и при которых мы должны были рисовать, как упомянуто выше. Песталоцци говорил, а мы за ним: “Амфибии: ползающие амфибии. Пресмыкающиеся амфибии. Обезьяны: Хвостатые обезьяны. Бесхвостые обезьяны” и т. д. Из всего этого мы не понимали ни одного слова, потому что нам ни слова не объясняли, и притом это говорилось нараспев и так невнятно, что удивительно было бы, если бы кто-нибудь что-либо понял. Притом же Песталоцци кричал так оглушительно громко, что сам не мог слышать, что мы за ним повторяли; а если бы и мог, то все равно никогда не

выслушивал, а проговорив одно предложение, тотчас начинал другое, и так безостановочно прочитывал целые страницы. То, что он нам читал, было написано на полулисте огромной папки, и все повторение наше состояло или из отдельных слов, или даже из последних слогов: *яны, яны, обезьяны, обезьяны*. Вопросов и ответов не было”.

Читатель, без сомнения, весьма удивлен сообщенным в настоящей главе. В самом деле, каким образом человек, несомненно обладавший крупным, недюжинным умом, так блистательно обнаруживающимся в общих педагогических воззрениях Песталоцци и в особенности в его умелой оценке великого значения народного образования, мог, разрабатывая подробности приемов ведения дела, впасть в столь изумительные странности, а в своей школьной практике превратить дело обучения в какой-то сплошной курьез? Нам кажется, что искать объяснения этого странного факта нужно в тех особенностях психической организации Песталоцци, которые так отягощали всю его жизнь. Особенности эти можно охарактеризовать одним словом – непрактичность, понимая это слово в самом широком значении. Склад ума Песталоцци был всегда более пригоден для кабинетной работы; это был ум мыслителя. Каким он был блестящим в области чисто умственной работы, наглядно показывают, помимо создания педагогической системы, шедшей абсолютно вразрез с общепринятыми воззрениями, попытки Песталоцци касаться вопросов философии, истории и политики. Попытки эти были слишком случайны и отрывочны, чтобы из них вышло что-либо цельное, законченное; но они дают достаточное понятие о способности Песталоцци к работе в сфере общих вопросов. Сосредоточиться на этой области, однако, он не мог. Он был слишком живым человеком, чтобы довольствоваться одной отвлеченной работой мысли; он не мог утешиться тем, что его дело – пустить в обращение идею, а осуществление ее возьмут на себя другие. Ему хотелось самому непременно поработать для того великого дела, которое рисовалось в его мыслях. К тому же в тот век господства понятий, прямо противоположных идеям Песталоцци, он не видел, кто взял бы на себя осуществление его идей, и справедливо опасался, что идеи эти не привлекут всеобщего внимания, если им не будет сделано всего, что он в состоянии сделать для их практического осуществления. И Песталоцци сделал в этом отношении, как мы видели, очень многое. Его практическая деятельность действительно сыграла важную роль в деле распространения новых педагогических идей. Этим он обязан своей любящей натуре, которая давала ему возможность поставить воспитательную часть своей системы даже при самых неблагоприятных условиях, как, например, в

Станце, в высшей степени образцово. Иное оказалось в преподавательской области. Здесь, помимо любви к делу, требовалась способность ориентироваться среди мелочей, применить великие общие идеи к требованиям практического положения вещей – и здесь Песталоцци оказался несостоятельным, как он оказывался несостоятельным всегда, когда ему приходилось выступать в роли практика. В этом отношении является в высшей степени характерным отзыв о Песталоцци его друга, знаменитого Лафатера. Он говорил Песталоцци:

“Если бы я был правителем государства, то сделал бы тебя моим главным советником по части просвещения; но не дал бы тебе заведовать самой последней деревенской школой”.

И действительно, великий мыслитель, давший стройную систему общих оснований педагогики, оказался совершенно несостоятельным при разработке частных и еще более – при их практическом применении.

Теперь мы можем уяснить себе, каким образом сложилась легенда о том, что Песталоцци является “отцом современной педагогики”. Нетрудно заметить, что система, именуемая “современной педагогией”, действительно сделала заимствования у Песталоцци. Но какого рода эти заимствования? Усвоила ли господствующая теперь система основные положения Песталоцци? Отнюдь нет. Господствующая ныне система так же далека от стремления дать перевес семейному и домашнему воспитанию и обучению перед школьным, как и система, господствовавшая сто лет назад; точно так же остается и ныне без применения требования Песталоцци о том, чтобы все воспитание и обучение были основаны на любви к детям и чтобы педагогом был только тот, кто любит своих питомцев; остается в пренебрежении и основное правило Песталоцци, чтобы и в воспитании, и в преподавании совершенно отсутствовал элемент принуждения, чтобы дети усваивали нравственные истины через практику нравственных дел, а не путем поучений, и чтобы они изучали то или другое в силу вызванного в них влечения к изучаемому, а не в силу обязательных требований; забыто и требование Песталоцци, чтобы обучение начиналось с действительного, с факта, близкого, родного и уже потом переходило к слову, существующему только в нашем представлении, далекому, чуждому, и т. д. Словом, все основные положения Песталоцци совершенно пренебрегаются господствующей системой. Зато последняя заимствовала у Песталоцци многое по части приемов преподавания – заимствования крайне сомнительного достоинства. Кто знаком с практикой современной системы, тот не может не видеть, как много перешло в нее от Песталоцци по части курьезных приемов при обучении языку, рисованию, письму, вычислению и

по “наглядному обучению”. Некоторые приемы сохранились от Песталоцци до сих пор в их неприкосновенном виде. Таким образом, современная педагогика заимствовала от Песталоцци именно то, в чем он оказался несостоятельным, и совершенно пренебрегла основами системы великого педагога.

Значение Песталоцци не в том, что он выдумал занимать детей рисованием черточек, крестиков и квадратиков и держал их по полугоду на этом занятии, прежде чем перейти к обучению письму, и не в том, что он рекомендовал курьезный способ изучения языка, при котором является надобность в “книге слогов” и “словаре имен”. Только узкие немецкие умы могли искать в сочинениях великого педагога методических и дидактических указаний, совершенно противоречивших общим основаниям его системы, и только рабское следование во всем наших русских педагогов немецким образцам пересадило на нашу почву ошибки Песталоцци. Теперь, когда “современная педагогика” во многом утратила доверие к себе в обществе, быть может, настало время вспомнить великие педагогические начала, выраженные Песталоцци, и отметить его истинное значение – значение основателя дела народного образования и создателя педагогической системы, положившей в основу любовь к детям и уважение к их нравственной и умственной личности.

ИСТОЧНИКИ

1. Тимофеев. Генрих Песталоцци, знаменитый швейцарский педагог.
2. Н. Михайлов. Очерк жизни и деятельности Иоганна-Генриха Песталоцци.
3. К.В. Песталоцци и его мысли о воспитании и учении – “Семья и школа”, 1880, №№ 6–7 и 8–9.
4. Жизнь и воззрения Песталоцци (извлечение из полного собрания его сочинений). Перевод О. Поповой.
5. “Журнал Министерства народного просвещения”, 1861, №№ 8-10.
6. “Воспитание”, 1861, №№ 7–9.
7. “Учитель”, 1861, №№ 19, 20.

notes

Примечания

1

Швейцарии.

Как видим, и здесь стремления Песталоцци резко расходятся с требованиями современной педагогики, которая даже из такого простого дела, как обучение грамоте, стремится сделать что-то столь мудреное, к чему нужно готовиться целые годы.

3

Теперь здесь, по горькой иронии судьбы, помещается тюрьма.

В настоящее время уже есть группы населения в Европе, в которых это требование Песталоцци начинает осуществляться в довольно широких размерах. Таковы, например, менонниты и отчасти баптисты, у которых образованные люди обыкновенно возвращаются в ту же среду, откуда вышли, и не стыдятся продолжать занятия своих отцов – земледелие, скотоводство, молочное дело, виноделие, разного рода ремесла и т. д. Благодаря этому и общий уровень образования и умственного развития в названных группах населения неизмеримо выше, нежели в окружающем населении, и материальное положение несравненно лучше, и нравственный и общественный склад жизни представляет много чарующих по своему высокому достоинству сторон, чего и в зародыше нет в остальном населении.

Современная педагогика, выдумавшая “детские сады”, желает, вопреки одной из главнейших идей Песталоцци, отнимать от семьи чуть не грудных детей.

6

Бог из машины (*лат.*).

Подобные упражнения широко практикуются и современной педагогикой.

И такого рода упражнения усиленно практикуются современной педагогикой.